181 513

ДРИЕ ЛЯ РОШЕЛЬ

181 513

# КОМЕДИЯ ВОЙНЫ

ГОСЛИТИЗДАТ • 1936

181 513

ДРИЕ ЛЯ-РОШЕЛЬ

т
Л-97

# КОМЕДИЯ ВОЙНЫ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
ВИКТОРА ФИНКА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ф. ШИПУЛИНСКОГО

ГОСЛИТИЗДАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1936

ГПИБ
ФИЛИАЛ

Ф 110164

DRIEU LA ROCHELLE

# LA COMEDIE DE CHARLEROI

1934

БИБЛИОТЕКА
Горьковск. Педагогич. Института
№ 8530
14 VII 1936 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Трус, бежавший с поля брани в панике, спасая свою шкуру, может иногда эмоциональней, образней и красочней рассказать нам об ужасах и нелепостях войны, чем мыслитель, вскрывающий ее пружины.

В этой взволнованной непосредственности — ценность рассказов Ля-Рошеля.

Герой — и любимый автором герой, от имени которого ведутся все рассказы,— интеллигентный мещанин, в прошлом студент Сорбонны, в будущем — секретарь богатой дамы-патронессы. Он шел на войну, как на парад на Марсовом поле, взвинченный и наэлектризованный патриотическим визгом.

Но уже с первых шагов, еще в Париже, начинаются горькие разочарования. Он, мещанин-индивидуалист, мнит себя аристократом духа, чуть ли не сверхчеловеком. У него в солдатском ранце томик провозвестника немецкого фашизма Ницше. А ему в казарме приходится соприкасаться, как равный с равными, с «демократией» — с простонародьем, с крестьянами и рабочими, к которым он не может, конечно, почувствовать ничего другого, кроме надменного презрения и... страха!

На фронте и того хуже. Ничего похожего на парад, никаких паладинов в блестящих доспехах! Грязь, вши, кровь и смерть. Неизвестно откуда хлещет пулями немецкий пулемет, разрываются снаряды, гудят аэропланы. «Это не война героев,— восклицает он,— это — война за-

водов, современной химии, техники». Какая неприятность! Приобщиться к шовинистическому треску, торжеству победителей оказалось не легко и не весело, и он уподобляется тому молодому человеку, который, причащаясь в церкви, просил дать ему «пожиже», так как у него катар желудка.

Не выдержав этого пассивного ожидания, когда тебя прихлопнет осколком, он, почти не сознавая, что делает, вылезает из канавы и бежит вперед, увлекая за собой десяток других, также не выдержавших своей обреченности. Правда, через минуту он опять спрячется от пуль в первой попавшейся ложбине. Но в тот момент, когда он вылезал из канавы, вылезло наружу и его маленькое «я»: он уже самым серьезным образом считал себя героем, вождем, полководцем.

Но для того, чтобы быть героем, нужна цель, нужна ведущая идея, а у него их нет. Расплющенный между двумя классами, он готов порой почти одобрительно отзываться о «русских», сумевших выйти из империалистической бойни, а через минуту уже снова погружается в националистическую мистику.

Какой же выход для нашего героя из всей нелепости империалистической бойни? Конечно, только один: воспользоваться протекцией и получить назначение куда-нибудь в безопасное место, окопаться в тылу, отправиться в командировку за границу. И он это делает.

Но другие, сидевшие в тылу, дезертиры, окопавшиеся, будут потом пожинать лавры «неизвестных солдат». Он презирает таких. Он сам только с иронией может говорить о своем военном прошлом, только критиковать и отрицать, в своем отрицании доходя до цинизма.

Вспоминаются две другие книги, написанные людьми, тоже не пожелавшими требовать себе воинских почестей: «На западном фронте без перемен» и «Путешествие на край ночи». Но у Ля-Рошеля нет и того социального чутья, какое есть у Ремарка, нет и искренней смелости Селина, поднявшего свой цинизм на высоту философии.

Если человек беспомощен среди разыгравшихся стихий, кто выведет его на безопасное место? Начальство почти сплошь трусы, бездарные, шкурники. Он метко критику-

ет их, но это — критика трактирщика, читающего газету, недовольного тем, что дела идут плохо, и восклицающего: «Ох, если бы я был правительством!»

И вот тут-то начинается отчаянная мольба о спасителе. Давно ли он сам требовал себе места полководца? А теперь он в отчаянии зовет другого, настоящего «полковника», как Пилсудский, Duce, как Муссолини, Führer'а, как Гитлер.

Нетрудно предугадать дальнейшую биографию растерявшегося героя, дальнейший, ненаписанный рассказ периода кризиса. Он будет метаться между французскими радикал-социалистами и английскими лейбористами типа Макдональда, чтобы затем начать петь гимны оголтелому германскому фашизму, требовать для Италии права разгромить Абиссинию.

И этот конец не выдуман: это — отрывок из биографии самого Ля-Рошеля.

Так эта «Комедия войны» наглядно и убедительно показывает нам, какими дорожками приходят к фашизму не только раздавленные монополистическим капитализмом лавочники и страдающие от кризиса сельские кулаки, но вместе с ними и некоторые слои перепуганных интеллигентов.

В этой невольной — почти без всяких покровов — откровенности — второе несомненное достоинство рассказов Ля-Рошеля, делающее их любопытным человеческим документом, «записками из подполья» трусливой и корыстной душонки, плетущейся в обозе фашизма.

*Ф. Шипулинский*

# КОМЕДИЯ ВОЙНЫ

## I

Мадам Пражен решила, что первого июля мы поедем в Шарлеруа. Перспектива этой поездки сразу же произвела на меня жуткое впечатление. Но возражать не приходилось: я служил у мадам Пражен секретарем.

Перед отъездом, из-за боязни опоздать к утреннему поезду, я провел очень плохую ночь у моей тогдашней любовницы Корали и ушел от нее на целый час раньше времени. Корали находила мои опасения вполне естественными: она очень уважала богатую мадам Пражен.

Я шагал взад и вперед вдоль поезда. Это напоминало мне август 1914 года, огромные массы мобилизованных, которые мотались с севера на восток и с востока на север. Они, как подхваченные бурей, проносились мимо меня, неведомо куда. Я стоял тогда часовым у этой платформы. Все были пьяны и пели Марсельезу. Это были, я уверен, те же самые, кого я видел первого мая на площади Республики. Люди любят напиваться пьяными и петь. Им неважно, что именно петь, лишь бы хорошо звучало. А бессмертные песни всегда звучат хорошо.

В какой-то мере я и сам был тогда пьян. На меня действовало шумное зрелище этого безрассудного отъезда, этого легкомысленного порыва. Ведь и я уезжаю завтра с парижским полком! И мы действительно уехали 4 августа. Клод Пражен уехал тогда вместе с нами.

Мадам Пражен пожаловала, наконец, на платформу. О, господи! Ужасы, какие я предвидел, начались. Мадам оказалась в форме старшей сестры милосердия и была увешана всеми своими знаками отличия. Я почувствовал, что и мне не избежать выцветшей ливреи прошлого. Ведь уже идет 1919 год.

Вид у мадам Пражен был растерянный, но тщеславный. Ее бледно-голубые, холодно-беспокойные глаза искали чужих взглядов. Чуть сгорбившись, быстро, как будто через силу, шагала она на своих слегка искривленных ногах. Ее костлявые руки сжимали огромный ридикюль темной кожи, украшенный огромной монограммой. Здороваясь со мной, она процедила приветствие сквозь зубы с той подчеркнутой вежливостью, которая всегда меня унижала. Ее голос и походка были надломлены, но в них чувствовалась необычайная энергия. Она устроилась в вагоне в уголке, который я приготовил для нее, и вздохнула: это был один из тех вздохов, какие вот уже четыре года составляют весь смысл ее жизни. Она с удовольствием увидела здесь еще двоих пассажиров: у нее будут слушатели! Разложив вокруг себя газеты, письма и бумаги и направив лорнет на соседей, по виду богатых буржуа, она обратилась ко мне:

— Мы будем в Шарлеруа в 11 часов 35 минут. Мэр города и мадам Варрэн будут нас встречать.

Заявление произвело свой эффект. Супруги, находившиеся в купэ, зашевелили свои жиры и обратили на мадам Пражен взгляды, исполненные уважения.

Когда поезд тронулся, мадам стала перечитывать письма на официальных бланках, хотя читала их уже раз десять. Потом она пробежала «Фигаро» и «Матэн».

— Ах, Дезирэ, оказывается, едет в Руан? Он как будто не говорил мне об этой поездке!

— Нет, мадам...

— Как Дезирэ переутомляется!

Глаза супругов наполнились грустью и сочувственным вниманием: Дезирэ Босье был министром десять раз.

Главная черта характера мадам Пражен — страсть к известности. Ей необходимо, чтобы ее знали, чтоб она была освещена тем светом, какой распространяют вокруг себя

знаменитости. Сегодня она может быть довольна: Дезирэ Босье, один из лидеров национального блока, стал министром в одиннадцатый раз.

Я знал, что ей дорого обходились связи с этой знаменитостью. Теперь Босье крепко поддерживал дружбу с вдовой Пражена. Но чего стоило ей в свое время добиться возможности стать женой этого замечательного дельца Пражена. Тот вовсе не желал жениться на своей кузине. Он был влюблен в красавицу Дюфор. Но Мадлен Мюллер нашла верное средство добиться цели: она стала чахнуть и тощать с пугающей быстротой. Пражен, суровый с мужчинами, был до глупости добр с женщинами. В конце концов он попросил ее руки, и семья, поплакав, сколько полагалось, отдала ему бледную девицу.

Таким путем моя хозяйка пробралась в круг лиц, близких к Босье, с которым был в дружбе Пражен, и уже больше никогда не выходила из этого круга.

Всю дорогу мадам Пражен говорила для публики. Разговаривала она так красноречиво, что пассажиры, проходившие по коридору, задерживались у наших дверей. Их захватывало то же благоговейное чувство, что и супругов, находившихся в нашем купэ. Эта пара чуть не задохлась, когда мадам, наконец, удостоила их беседы, о которой сама мечтала с первой минуты.

— Благодарю вас, мсье! Теперь я смогу улечься достаточно удобно. Ах, у меня такое слабое здоровье, что для меня путешествие — жестокое испытание,— сказала она.

Восклицания изысканно вежливого сочувствия полились из уст супругов.

И эта женщина, вся сотканная из тщеславия, имела сына? Неужели можно забеременеть без страсти, вынашивать без чувства? Как поразило меня ее сообщение, что она сама выкормила Клода! Бедняга! Она сделала его слабым, но, несмотря на это, уже в раннем возрасте настойчиво и решительно толкала его по стопам Босье. Несмотря на его хрупкость, она хотела, чтобы Клод стал военным.

Ей было едва пятьдесят, но она, казалось, забыла, что у нее есть грудь, живот. Впрочем это скорее всего не от

возраста. Из-за плохого здоровья она была до крайности худа. Ее взгляд источал холод, иногда совершенно невыносимый для меня. Теперь мадам закрыла глаза. Это ее вечное притворство! Она и на самом деле была утомлена, ее энергия была не по силам ее телу, преждевременно состарившемуся от неврозов и медикаментов, но ей казалась необходимой еще и маска, резко сгущавшая черты усталости.

Можно быть уверенным, что после того, как ее покинул муж, она не имела любовников. Ее жизнь была целиком заполнена притворством и лицемерием. Все было построено на тщеславии. Десять лет она притворялась, будто изучает археологию. Пять лет изображала себя художницей. Теперь она разыгрывала сестру милосердия. Наряду с этими ролями она, чтобы оправдать свои неудачи и свою покинутость, всю жизнь симулировала больную. Даже то, что она делала искренне, всегда казалось притворством.

— Вы, конечно, из Бельгии?

— Да, мадам! Мы валонцы, из самого Шарлеруа.

— Ах, вот как! Я как раз туда и еду с моим секретарем. Я еду искать могилу сына. Он убит в вашей стране в августе 1914 года.

— Ах, мадам!.. Мы понимаем... Быть может мы...

— О нет, благодарю вас! Обо мне позаботятся мсье Гиймот и мадам Варрэн.

Лица супругов расцвели полной удовлетворенностью.

— О, в таком случае вы вполне обеспечены всем. Но мы думали... Мы знакомы...

— Вы знакомы с мадам Варрэн? — спросила мадам Пражен, сурово уставив лорнет на собеседников.

— Собственно говоря... Кузина моей жены...

— Да, моя кузина приходится золовкой мадам Варрэн,— сконфуженно пролепетала дама.

— Ах, вот как?

Мадам Пражен решила, что спутники приличны, но особого внимания не заслуживают.

— Дело в том, что этот господин был сотоварищем моего сына, Клода Пражен,— продолжала она через минуту, указывая на меня жестом собственницы.

Чтобы увидеть эффект, какой произведет это имя, она пристально вгляделась в собеседников. Те поторопились изобразить раскаяние в своем неведении.

— Мсье был свидетелем гибели моего бедного ребенка и будет сопровождать меня по полям сражений.

Почему, собственно, о полях сражений она говорит во множественном числе?

Несмотря на пренебрежение, какое мадам Пражен открыто проявляла к этой чете Нуазон или Нуазан,— свою фамилию они не преминули назвать со всей готовностью,— она почти всю дорогу не могла удержаться от беседы с ними. Я мог без помехи рассматривать расстилавшиеся за окном вагона пейзажи. Они мало запомнились мне, хотя я и исходил все эти места в походах. Тогда я смотрел на все ничего не видящим взглядом. Усталость ломила тело. Скука мешала видеть. Теперь я, удобно усевшись, созерцал окружающее со снисходительной оценкой человека, глубоко зарывшегося в недра мирной жизни, и спрашивал себя: чем, собственно, эти деревни — недавний театр войны — отличаются от множества других?

Время от времени мадам Пражен задавала мне вопросы. Она не любила, чтобы я задумывался: ведь это, в самом деле, свидетельствовало, что обязанности службы я выполняю без особого усердия. Я отвечал, что придется. К счастью, мои ответы ее не интересовали. Она отворачивалась и продолжала сообщать чете Нуазон все новые откровения о своей славе и славе ее близких.

Внезапные проявления интереса и безразличия она подчеркивала как нельзя лучше, маневрируя лорнетом.

Наконец, мы приехали. Мгновенно позабытые Нуазоны утешились тем, что им удалось увидеть вблизи все детали почетной встречи. Я с изумлением убедился, что мадам Пражен окружена подлинным почтением мсье Гиймота, мадам Варрэн и всех остальных, кого они привели с собой. Дело в том, что мадам Пражен отдала своего сына! Она сама побудила бы его уйти на поле брани, если бы у него нехватило решимости. Вот что она, близкий друг самого Босье, сделала во имя Франции и Бельгии! И это еще не все! Разве она лично не взяла шеф-

ство над бельгийской деревней? И мертвые, и живые свидетельствовали о ее заслугах!

В глазах госпожи Варрэн мадам Пражен была живым воплощением парижской изысканности.

Мы пересекли хмурый город Шарлеруа и прибыли в дом мадам Варрэн. Здесь мадам Пражен устроилась с буйной радостью. Эту радость она всегда испытывала от всякой случайной экономии, хотя имела все возможности быть расточительной.

Я здорово проскучал до следующего утра. Мадам Пражен повторила в более широких размерах сцену, уже разыгранную в поезде. Этот спектакль я наблюдал уже сотни раз и в Париже.

Мне скажут: если ты не имеешь тех запасов терпения, каких требуют придворные должности, то зачем было брать на себя обязанности секретаря?

Уйдя от войны и не имея средств, я обрадовался первой подвернувшейся должности, дававшей мне время для поисков настоящей работы. Увы, я был ленив и недостаточно пронырлив. Оглушенный условиями мирной жизни, я так и застрял на этом месте.

Я не очень интересовался зрелищем того неистовства, с каким мадам Варрэн накинулась на мадам Пражен. Она истосковалась в провинции и, почуяв веяние Парижа, как бы сорвалась с цепи. Проявилась здесь и грусть о неудавшейся жизни, неизбежная в известном возрасте. Сказалось и физическое тяготение, какое охватывает слабые существа при встрече с другими, обладающими электрической силой богатства и известности.

Хотя мадам Пражен и уверяла, что она не желает ни с кем видеться, к обеду было приглашено пышное общество. Оно, впрочем, показалось мне не слишком изысканным. Так бывало всегда. Мадам Пражен всегда окружали такие люди, на которых она без всякого риска могла испытывать самые грубые эффекты. Ее вполне удовлетворяла эта второразрядная публика.

После обеда я вырвался на волю и отправился погулять. Безнадежность. Город напоминал унылые старые промышленные города Англии. Кроме нескольких домов, сожженных немцами,— никаких достопримечательностей.

## II

На следующий день мы, наконец, отбыли «на поля сражений», как выражается мадам Пражен. Это и увлекало и пугало меня.

Мы вышли из автомобиля в Эскемоне. Здесь нас тоже встретил мэр — местный. У него был еще более оторопелый вид, чем у мэра Шарлеруа. Но он проявлял это по-иному,— не как горожанин, а как деревенский житель. Он был не столь угодлив, но более испуган и более взволнован.

Деревни я не узнал. Отправляясь перед боем на позицию, мой полк проходил здесь ночью. Обратно нас повели другой дорогой. Из-за плохой памяти я успел позабыть все, вплоть до названия, но теперь оно внезапно разбудило во мне волну воспоминаний.

Мэр, извиняясь, повел нас пешком. Мадам Пражен шествовала по деревне с видом скромной и доброй повелительницы: это была та самая деревня, над которой она шефствовала. Собственное великодушие веселило ее, побуждало ее к беседе с первым встречным. Она неожиданно заявила своим надтреснутым голосом:

— Я рада, что мы идем пешком. Мой бедный мальчик ведь исходил в этих местах гораздо больше.

Я внимательно оглядел ее. Была ли она искренна? Каждое слово этой женщины всегда звучало капризом. Я не очень-то верил ее горю: она слишком шумно демонстрирует его четыре года под ряд. Но эта последняя фраза взволновала меня. Никогда я не слышал от нее столь театральных выражений. Быть может, она сделала над собой усилие и сумела постичь настоящее горе? Или, напротив, здесь сказалось то правдивое, что имелось и прежде, но могло проявиться лишь вне обычных условностей?

Большинству людей нехватает воображения, чтобы проявить скорбь. Они вынуждены обманывать, пускать в ход притворные слова, жесты, интонации. Быть может, впрочем, это притворство не умаляет их скорби.

Мы покинули шоссе и двинулись по тропинке. Вид одного из домов внезапно взволновал меня. Пережитый

здесь августовский день в один миг снова встал перед моими глазами. Я даже вскрикнул, и мадам Пражен оглянулась на меня.

Ее взгляд показался мне злобным. Я и прежде не раз замечал за ней эту черту, но на этот раз она проявилась с особой очевидностью. Мадам Пражен что-то имела против меня. Но что именно? Очевидно, она не прощала мне того, что я жив, тогда как ее сын, мой товарищ, погиб. Это мне было понятно. Я и сам иной раз испытывал стыд, как-будто жизнь, которой я пользовался, я отобрал у тех, кого я оставил здесь.

Те, кого я оставил... Я вдруг ясно почувствовал, что все те, кого я видел тогда на этом поле, лежат под землей. Они остались и находятся здесь и поныне.

Мы все живем под гнетом старинных суеверий, ребяческих представлений. Да откуда нам взять что-либо иное? Мы не знаем ничего положительного, что могло бы ограничить наше воображение. Как мог я теперь, в эту минуту, удержать свои мысли, покатившиеся по наклонной плоскости? Раз здесь были их тела, то здесь находятся и их души. Душа всегда неразрывна с телом, независимо от того, веет ли от него благоуханием или разложением. Эти души голодны, они мерзнут, они страдают. Что-то жутко-реальное, пугающе-живое поднималось с поля. Это всколыхнуло мою память, заставило кипеть кровь в моем мозгу. Призраки стали оживать. С какой, однако, непринужденностью оставил я всех их здесь.

— Вы узнаете местность? — спросила мадам Пражен со скрытой иронией.

— О, да! Кирпичная стена! Вот она, вот кирпичная стена!

Я все увидел, все узнал. Я вспомнил теперь все детали. Но объяснить этого я не мог. Я мог только бормотать что-то, указывая рукой на то, что так сильно поразило меня. Кирпичная стена стояла здесь, предо мной, всего в сотне-другой метров! Эта была та самая стена, по которой мы стреляли, как безумные, та самая стена, у которой мы увидели немцев.

Внезапно я перестал понимать что бы то ни было. Мы находились как раз в той части поля битвы, откуда в

свое время перед полком развернулась кирпичная стена. Тогда она была далеко-далеко, и когда мы в полном снаряжении двинулись в атаку, нам пришлось очень долго бежать. На полпути весь полк был скошен. Для этого оказалось достаточным одного единственного пулемета. А теперь эта кирпичная стена совсем близко. То, что тогда представлялось нам огромным, бесконечным, оказалось теперь совсем крошечным. Я чувствовал себя как человек, неожиданно очутившийся на месте своих детских игр.

— Вот она, вот кирпичная стена! — повторял я.

— Что такое? — нервно спросила мадам Пражен.— Где был Клод?

Ее хриплый и недовольный голос вывел меня из оцепенения. Я мог разобраться в деталях, последовательно разместить их.

— Вначале он находился здесь...

... Это было ранним утром. Я вернулся из передового охранения, которое посылали по ту сторону леса. Моя часть вышла из того же леска, откуда позже появились немцы. Кирпичная стена была на полпути между лесом и окопами. Мы видели, как немцы шли по равнине. Весь наш полк выделялся синими и красными рядами. Каждый ряд, увидя перед собой опасность, стал делать попытки спрятаться, окопаться. Каждый стал ковырять своей лопаткой. Слишком поздно! Перед нами были лужайки и соломенные крыши. На лужайках находились коровы, покинутые бельгийскими крестьянами. На полях недавно скошенные хлеба стояли в стогах.

Мы — человек двенадцать или пятнадцать — провели всю ночь в передовом охранении и были очень взволнованы, увидав свой полк. Он был сурово озабочен тем, что предстояло, и неузнаваемо переменился. Мы догадывались, что близятся события. Какой-то конный африканский стрелок, внезапно появившийся на опушке леса, на всем скаку прокричал нам: «Вот они!»

Все же, проходя мимо дома лесного сторожа, мы нашли время спустить с цепи забытую собаку и захватить со стола банку варенья, оставленную в комнате.

Еще ничто пока не нарушало тишины.

Дойдя до окопов, я увидел Клода. Он стоял на коле-

нях на только-что разрытой земле, с пенснэ на носу. В слабых, неловких руках он держал лопатку и смотрел, как работает солдат, состоявший при нем чем-то вроде денщика.

Он так и остался на коленях, с открытым ртом, бледный, обреченный, со съехавшим пенснэ. Я прошел, и мы так и не успели ни поздороваться, ни попрощаться...

— Он был здесь! — с негодованием воскликнула мадам Пражен.

Она негодовала так, будто понимала, что именно здесь произошло.

Взвод Клода занимал невыгодную позицию — слишком на виду, на самом гребне одного из многочисленных здесь холмов.

Мой же отряд,— как будто затем, чтобы теперь вызвать негодование мадам Пражен,— был укрыт в ложбинке. Здесь было так хорошо,— хотя бы даже во время перестрелки,— что бретонец Козик, например, ни за что не хотел уйти и так там и остался, даже когда все снялись. Это было поблизости от леса. Лес, откуда появились немцы, находился впереди. Он тянулся влево, а отчасти заходил и позади нас. Полк как бы прислонился к этому лесу. Но справа развертывалась гладкая равнина. Немцы продвигались вдоль большой дороги и тоже без прикрытия.

— А вы, вы-то где были?

— Вот здесь! — признался я.

Мадам Пражен не сказала ни слова, но бросила на меня взгляд, который говорил: «Я так и знала, что вам нельзя доверяться...»

— Клод был там. И его капитан тоже,— с достоинством сказал я.

— Капитан! Я достаточно насмотрелась на него в казарме. Это был дурак! Он мог бы разместить их в другом месте...

— Но ведь он и сам был с ними!

Капитан вышел из рядовых. Это был толстый человек с душой чиновника, с круглым животом на коротеньких и слабых ногах. У него было медно-красное лицо с жиденькими грязными усами, похожими на щетину, какой

украшают деревянных лошадок. В это утро вид у него был не боевой. И очень просто: капитан мечтал в октябре выйти в отставку. Он был уничтожен первою волной.

Однажды, еще в казарме, я попросился у него в театр, на русский балет. Он сказал мне:

— Ах, это вы, студент? Незачем вам по театрам шляться. Разве я хожу в театр?

Как все выслужившиеся из рядовых, он презирал молодых буржуа с протекцией. А в полку их было несколько дюжин.

— Я мельком видел здесь Клода утром, часов в семь-в половине седьмого.

— Ну, а раньше вы его видели?

— Накануне,— лишь один миг. Потому что он уже был в бою.

— А вы?

— Нет.

Я объяснил ей положение, как умел. Мой взвод был назначен охранять полковой обоз,— сам не знаю, против кого. Но таким образом мы оставались в тылу, в то время как часть полка ввязалась в дело под Шарлеруа — да и то довольно вяло — и вскорости была тоже без потерь выведена из огня.

...Случилось так, что мы долгое время оставались на пустынной дороге, на вершине холма. Мы застряли, и я был доволен. Между тем еще так недавно пред этим, в Париже, мне до того не терпелось в ожидании битв, что я просил о скорейшем переводе хоть в алжирские стрелки, в Марокко.

Правда, я был доволен не тем, что избежал опасности, а тем, что имел возможность, ничего не делая, смотреть на происходящее.

С вершины холма я видел французскую армию, развернутую на равнине под обстрелом. Какой-то старый анекдот, давным-давно забытый и внезапно оживший, чтобы быть сурово уничтоженным! Эти войска, пестревшие синим и красным[1], напоминали батальные картины

1 В начале войны французская пехота носила форму мирного времени — красные кэпи и брюки и синие шинели. (*Прим. перев.*)

середины прошлого века. Армия устарела и имела растерянный вид. Она была уличена в беспечности и хвастовстве, но все же пыталась проявить задор, хотя была весьма неуверена в своих силах. Генералы имели грустный вид. Их сопровождали кирасиры, как бы созданные, чтобы умереть где-нибудь под Рейшофеном[1]. Впереди не видно было ничего. Немцы сумели слиться с окружающей природой, что было не так глупо. Видел я еще согнувшегося на лошади артиллерийского майора в стареньком капюшоне, успевшего уже потерять свои батареи. Вспоминалось прочитанное у Маргерит и Золя. Все было похоже на пересмотренное и расширенное переиздание 1870 года. Я вспоминал пессимизм моего дедушки. Он видел Коммуну и не мог забыть Седана[2]. Я вспоминал хвастливый реваншизм моего отца. Я забыл, что и сам участвовал в факельных шествиях Мильерана и Пуанкаре.

Вечером, когда я сидел на краю дороги, приехал кто-то. Это оказался Барбье, писарь полковника. Он привез приказы для обоза. Я поторопился к нему.

— Ну, как?

— Плохо!

— Вот как! Плохо?

Я и сам считал, что дела идут плохо. Это — дело характера, да, кроме того, с самого рождения я только и слышал, что дела у французов идут плохо.

Сержант Гюжан обратил на нас внимание. Он в нас ненавидел двух буржуа. В нем проснулось старое недоверие якобинца.

Я ушел, повторяя: «плохо дело, плохо».

— Молчать! — грубо крикнул сержант.— Откуда берутся такие типы?!. У вас уже поджилки трясутся?!.

Я был удивлен этим нагоняем. Но тотчас, сделав над собой усилие, я отдал ему должное, этому сержанту. Ну, еще бы! Он ведь меня хорошо знает! Он прекрасно изу-

---

[1] В войну 1870 г. под Рейхсхофеном (по-франц. Рейшофен) небольшой отряд кирасир брошен был в атаку против целой армии немцев, чтобы вызвать диверсию, и был поголовно уничтожен. (*Прим. ред.*)

[2] В 1870 г. в битве при Седане император Наполеон III во главе стотысячной армии сдался в плен. (*Прим. ред.*)

чил меня зимой в казармах. Я был зябкий буржуа, лодырь и пессимист.

Я смотрел на Гюжана с завистью и опаской. Косая сажень в плечах, с огромным туловищем на коротких изогнутых ногах, этот ремесленник из Бордо на мгновение показался мне чем-то вроде сторожа на каторге.

Вскоре мимо обоза проплыл весь полк. Я был охвачен тревожным любопытством. Полк выглядел по-новому и казался странным. У него был озабоченный и растерянный вид. Едва успел он ввязаться в бой и стал наугад стрелять в неуловимого неприятеля, как его сразу же отозвали, и он подчинился.

Клод прошел близко от меня.

Я окликнул его. Он взглянул на меня и сделал жест, обозначавший:

— Ты не можешь себе представить, что это было!

Его движения были взвинчены и беспомощны. Между ним и мною было то расстояние, какое отделяет мертвого от живого или живого от мертвого.

Так как наш взвод не участвовал в бою, нас вечером послали в передовое охранение за лесок.

— Но когда вы проходили мимо него, разве вы ни о чем с ним не говорили? — воскликнула мадам Пражен.

— Нет. Видите ли...

Как объяснить ей это? Конечно, в глазах у нас обоих мелькнул какой-то проблеск воспоминания о нашей парижской дружбе. Но это длилось не более секунды.

— Ну, а потом что было?

— Потом? Мы целые часы провели в ожидании. Немцы все прибывали.

— Ну, и что же?

— О, мы были вовсе не так далеко один от другого.

— В таком случае...

— Но, мадам, на фронте ведь не разгуливают так себе...

...Правда была в том, что никто из нас не думал тогда ни о других, ни о самом себе.

Позднее, когда я делал разные движения, которые могли бы спасти или загубить мою шкуру, я заботился не о себе. Это были рефлекторные движения. Рефлекс —

один из основных принципов, какие выдвигает жизнь. Дело не в моей крохотной особе, а в общих принципах. Рефлексы сталкиваются, принципы противоречат друг другу: «Человек создан, чтобы жить» и «Человек создан, чтобы умереть»; «Когда нет начальства, его надо создать» и «Я не хочу никакого начальства».

И еще,— все эти часы ожидания мы провели в оцепенении.

Как медленно развертывалось это начало войны. Казалось, ни у кого нет решимости! Немцы, во всяком случае, не проявляли торопливости. Нам пришлось их ждать.

Я очень долго пролежал в ложбинке среди товарищей. Я ел сухой хлеб с вареньем и в первый раз в жизни выпил водки. Меня одолевал сон. Прошлую ночь на опушке леса я не сомкнул глаз: я смотрел, как горели деревни вдали, слушал бесконечный и таинственный грохот обоза. Что это было? Французская армия отступала! Германская двигалась вперед! Бельгийцы покидали свою страну! И потом этот таинственный электрический фонарь, который гулял по полю перед нами и так интриговал нас. Какой-то дурак важно заявил: «это шпион»! Это была первая ночь в моей жизни, которую я провел на открытом воздухе. Стоило для этого подымать на ноги всю Европу!

Меня одолевал сон. Он смыкал мои глаза, но я снова открывал их,— я не желал пропустить события начала войны. Пушки, безмолвствовавшие всю ночь, стали грохотать справа и слева. Я лежал на земле, имея за спиной ранец и всю выкладку. Меня удивляло, что я как бы пригвожден к земле. Я думал, что это не может продолжаться долго. Это затянулось на четыре года. В наши дни воевать — значит валяться, утопать в грязи, сплющиваться. Когда-то люди воевали стоя. Нынешняя война требует постыдных положений. Я убеждал себя, что, должно быть, я взволнован, ибо переживаю торжественный момент перед битвой. Но ведь волноваться по этому поводу я мог и накануне, и в течение всей ночи. В этот момент я изнемогал от желания спать.

Ах, они всегда обманывают, эти ожидания торжественных моментов! Я ведь столько мечтал об этом моменте! Но в глубине души я никогда не думал, что он и в са-

мом деле когда-нибудь наступит в моей жизни. Ребенком я, действительно, мечтал пойти в солдаты! Но что это были за мечты, что за глупые мечты, лишенные какого бы то ни было содержания! Современный человек, горожанин, весь разъеден мечтами о прошлом.

Однако люди мечтают ведь только о том, чего желают. Если я грезил об этом дне, значит, я хотел его. И правда, я, бедный интеллигент, зарывшийся в библиотеки, я мечтал продлить в реальной жизни вольные месяцы отпуска, периоды бездумной жизни дикаря на отлогом бретонском побережьи. Я мечтал объхать весь мир, вести за собой людей на подвиги, разрушать государства и создавать новые.

Но в это утро, охваченный полусном, преследуемый беспокойством, предчувствиями, смутными порывами, я стал догадываться, что ошибался, смешивая жажду действия с любовью к войне. Моя мечта увязла в густой и обманчивой тине. Что общего между моими детскими мечтами, в которых я был вождем, свободным человеком, распоряжающимся и рискующим своей кровью только для великих дел, и моим реальным положением одного из десяти миллионов клейменых телят и волов? На огромной ярмарке, развернувшейся в Европе под августовским солнцем 1914 года, уже заканчивался пригон скота. Скот проявлял самую героическую покорность, какую когда-либо видела История, испокон веков орудующая стадами. Скоро явятся мясники.

Смутное подозрение не давало мне спать: этот коридор чикагской скотобойни не похож на гордый путь к славе, о которой мечтала моя юность.

Мой сон был прерывист. Я лежал недалеко от лейтенанта, командовавшего моим взводом. Это был молодой, краснолицый нормандский нотариус, несколько смахивавший на англичанина. Он имел театральный бинокль и оглядывал опушку леса впереди и равнину справа. Солдаты, еще не сознавая опасности, но несколько встревоженные, дремали вокруг нас. Настоящих товарищей у меня не было. Крестьянин из Фалез, носивший, подобно мне, капральские нашивки, был недоверчив и подозрителен. Я не ждал от него ничего хорошего во время боя. Почти

все эти крестьяне были алкоголики, болезненные дегенераты и плохо переносили наши длинные переходы,— хуже, чем я, тщедушный буржуазный интеллигент, натренировавшийся во время долгих одиноких прогулок по отлогим берегам в Фалькланде.

Около десяти часов я окончательно проснулся. Пушка грохотала сильней, то вдали, то вблизи. А может быть еще и ничего не будет?! Может быть, это произойдет не сегодня?! Может быть, они разбиты где-нибудь в другом месте и уходят?!

— Вы не видите их? — спросил я лейтенанта. Мы оба были буржуа и инстинктивно тянулись друг к другу, но сержант Гюжан время от времени приподымался и бросал на меня подозрительные взгляды.

— Нет, пока не видно. Но теперь уж скоро...

Голова у меня гладко острижена, как у каторжника. Мои глаза слипались, уши были заложены. Я приподнялся над комком земли, который с утра заслонял мне горизонт. Деревня была пустынна и тиха. Кирпичная ферма, голубятня. Несколько дальше — молчаливые леса. Оттуда никто не показывался. Быть может, там никого и не было. Сонливость снова овладевала мною. Ничего не будет, ничего не будет! Так чудесно светит солнце! Далекая пальба — это только сон.

— А вот и они!

Лейтенант встал. Я поглядел на него с завистью и стал таращить глаза.

— Они выходят пачками.

Легкий шум пронесся в наших рядах. Я обернулся, чтобы увидеть, как оживают лежащие ряды полка. Вот за стогом майор Тилле. Он мне нравился. Рыжий, коренастый, ладно сколоченный! Рядом с ним — Люк де-Рабутен, чемпион гребного спорта, чудесно знающий поэзию эпохи Ренессанса. Он состоит при майоре для связи. Народу много! Я увидел вокруг себя лица, внезапно ставшие внимательными, дружественными, спаянными воедино.

Запоздавшие события стали стремительно приближаться.

— Прицел на восемьсот метров!

Я старался управиться со своим ружьем. Я раньше

стрелял мало и едва умел разобрать его. Мне всегда помогал солдат, получавший у меня подачки за выполнение грязных работ. В тех редких случаях, когда я стрелял, я делал это, как свинья, и все меня презирали. О, я не причиню зла этим немцам. Я вошел в войну штатским! Я так мало чувствовал себя солдатом, находясь в парижском гарнизоне, в этой столь мало воинственной армии, запертой в казармах! Мы знали только дурацкие упражнения во дворе и словесность. О полевой службе мы не имели понятия. Мы неподвижно провели в казарме всю зиму, законопатившись от эпидемий. Весной полк стали понемногу приучать к движениям. Но я уклонялся от однообразной гимнастики. Я любил только переходы, во время которых мог отдаваться своим мечтам. Все это время я колебался между своим допризывным теоретическим национализмом и казарменным обычаем увертываться от работ и повинностей. Я защищался, зарываясь в мечты. Как только бывало возможно, я добывал из кармана книгу. Вместе с тем меня шокировало, когда так поступали другие.

Конечно, я был не на своем месте. Но ведь не я выбрал это место. Наконец-то мне представился случай учиться жить самостоятельно. Правда, я немного присмотрелся к народу. Ибо, независимо от моей воли, глаза мои смотрят, мои уши слушают. В обстановке кинематографического трюкового кадра в парижской казарме мой опыт не мог, конечно, стать особенно богатым. Там были только отупевшие крестьяне и мрачные, омещанившиеся рабочие. Офицеры? Одни выслужились из рядовых и стали чинушами, только и мечтающими, как бы выйти в отставку. Другие сами не знали, как себя держать с этой публикой. Они стыдились этого хмурого и неподвижного общества и были в отчаянии.

Дежурства, смотры, караулы. Был момент, когда вся надежда на спасение свелась к тому, чтобы опуститься еще ниже: я попросил о переводе в Марокко, в стрелки. Но только как мог бы я жить среди этих скотов?..

Наперекор всему моему опыту, мое я, напичканное книгами и мечтами, продолжало время от времени делать театральные жесты.

Я сохранил чистые руки, я не знал ни штопки одежды, ни натирания металлических частей до блеска. Я только один раз был на фехтовании штыком.

Мой штык! Что я буду делать со своим штыком, оказавшись перед немцем? Ровно ничего! Я никогда не дрался даже на кулачках. Мне никогда не приходилось поднимать тяжестей. Я не был человеком из простонародья,— я не занимался ни физическим трудом, ни спортом. У меня был небольшой опыт маршировки и бега. Гребля на Сене оставила несколько мозолей на моих ладонях. Но вся моя подготовка была бы к лицу только барышне.

Значит, я дам себя проколоть первому встречному?

Нет, я не так глуп! Мое ружье будет всегда заряжено.

Но если заряды будут истрачены? Значит, я успею умереть раньше. Я был спокоен за свое ангельское тело.

— Слушай команду! Пли!

Нам было приказано стрелять беспрерывно, чтобы окончательно отогнать немцев, наступавших прямо на нас из леса. Но не прошло и минуты, как все перестали слушать команду. Обезумевшие люди стреляли почем зря, ничего не видя, ни на что не глядя.

— Браво! Они уходят обратно в лес!

Наши выстрелы, оказывается, дошли. Но если так, то это не так уж трудно. Мы лихо защелкали из ружей. Это продолжалось всего несколько минут.

Пиф-паф! Идеальная война, война, напоминающая охоту, когда мы стреляли, не подвергаясь обстрелу, длилась всего пять минут.

Потом за стрельбу взялись немцы.

— Они возвратились! Они движутся стрелковой цепью. Одни стреляют, другие продвигаются вперед.

Пули свистели. Все припали к земле. Но страх был не очень велик, так как еще не было раненых. Стреляли наугад, без толку, все хуже и хуже.

Мы вслушиваемся, вспоминаем разные истории. Было нелегко поверить, что смерть — это вот эти мухи. Они поют шутливо и забавно, потом плутовски и хмуро. Вот они хлещут. Внезапно чувствуешь, что это суровые, сталь-

ные удары, и сразу тебя охватывает страх и злоба. Ах, мерзавцы!

Кто мерзавцы?

Люди оглядывались друг на друга, строили гримасы и мало-по-малу стали разбираться в происходящем. Все в жизни оказывается сюрпризом. Значит, вот это оно и есть. Неприятно, но так оно и есть. Больше не надо воображать: налицо факт. Запуганная всем происходящим, душа уходит в пятки. Она очень не скоро подаст о себе знак.

С тех пор, как прозвучали первые выстрелы, я еще лучше изучил крохотную часть пейзажа, находившуюся на уровне моих глаз и отныне ограничившую собой мою судьбу. Отныне я буду видеть мир лишь на уровне травинки. Навсегда, навеки я зарылся в землю. Мое распластанное тело искало хоть какой-нибудь щели. Пули, летавшие вокруг меня, вбивались в землю, как гвозди.

Первые пули застали меня еще бесчувственным. Я еще не полностью понял, как они опасны. Потом я почувствовал это, потом — привык.

Тогда начался длительный период борьбы. Временами я чувствовал себя патриотом, который начитался книг и газет. В другие минуты я становился тем, что я впервые осознал в казарме,— нулем, ничтожеством, чем-то до конца опустошенным, дрянью, меньше, чем дрянью, нулем. А человек — куда девался человек!?

В другие моменты, все чаще и чаще, я становился чем-то иным: уже не патриотом и не дрянью. Я воспламенялся. Не время спать. Я приподнимался, высовывался до половины из-за насыпи и старательно стрелял. Но я не знал, куда стреляю, ибо никакого врага не видал. А лейтенант отдавал приказания неуверенно: он и сам видно не знал прицела.

Решительно, я не мог больше оставаться на месте. Окружающие были удивлены. Меня оглядывали с беспокойством. Все чувствовали, что мои причуды могут дорого обойтись. Но никто не решался упрекать меня. Я никогда не видел, чтоб кого-нибудь упрекали за храбрость. Моя смелость привлекала окружающих. Они не могли бы отказать мне, чего бы я ни попросил. Люди никогда не уме-

ют отказать человеку, который возвышается над общим уровнем. И, быть может, в глубине души эти испокон века неподвижные люди только и ждали, чтобы кто-нибудь повел их за собой.

Особенно выделялся один рыжий крепыш-крестьянин. Он любовался мною и лез из кожи, чтобы от меня не отставать.

— Ну, и молодец же ты! — повторял он.

Мало-по-малу завеса выстрелов, окружавшая нас, разбила нас на отдельные группы. Полка больше не было. Остались лишь тут и там небольшие кучки, и одним не было дела до других. Они даже стреляли друг в друга.

... Я снова увидел Клода около полудня издали. Он стоял на коленях и стрелял. Он казался растерянным и был похож на слепого. Очевидно, он потерял пенснэ.

— Ах, почему вы не занялись им?..

... У меня было других забот до чорта! Я внезапно почувствовал себя воодушевленным и рассвирепевшим. Я почувствовал, что я — участник войны. Какой-то взвод, находившийся на возвышении позади нас, умудрился, как это ни странно на взгляд новичков, стрелять нам в спину. По крайней мере, один из наших оказался раненым в ляжку, и пуля, видимо, прилетела сзади. Раненый визжал, а лейтенант и сержанты ругались, делали бесполезные жесты, обернувшись к тылу, и в общем ничего дельного предпринять не умели.

Поначалу я с любопытством рассматривал эту сценку. Она разыгрывалась вяло и неопределенно и казалась бесконечной.

Я столкнулся с самым существенным, что есть на войне, — с вопросом командования.

Нас в этой лощине было тридцать человек.

Кто командир?

У одних были нашивки, у других их не было. Здесь были военные профессионалы и были штатские. Лейтенант — штатский. Это — мирный буржуа. Он видел, что именно следовало предпринять, но предпочитал не замечать, чтобы не оказаться обязанным что-нибудь делать. Что касается сержанта, то вся его убогая сила заключалась в том, что он ни в чем не разбирался. Но я, я-то в

этот момент все сознавал, все понимал, и это заставляло меня кипеть.

Внезапно, как подброшенный пружиной, я кинулся к лейтенанту.

— Господин лейтенант! Надо сказать майору, чтобы нас поставили в другое место. Разрешите пойти?

Я и сам не ожидал того, что произошло. Сержант Гюжан, находившийся рядом, решил, что я попросту хочу улепетнуть. Мое пылкое усердие интеллигента показалось ему подозрительным. Он взглядом сообщил свои опасения лейтенанту.

— Для этого есть ординарец. Вы мне не нужны.

— Он не является. Это идиот,— возразил я.

— Но ведь вас убьют.

— Да нет! Надо же что-нибудь делать!

Лейтенант, боявшийся двинуться с места, не мог объяснить мою жажду движений иначе, как трусостью.

Я взглянул ему прямо в лицо, потом повернулся к сержанту. Моя решимость хлестала их, как кнутом.

— Вы увидите, вернусь я или нет.

Лейтенант почувствовал по моему тону, что я понял его. Ему стало неловко, и он пожелал оказать мне доверие.

— Ступайте!

Этого я только и ждал! Слава богу! Я двинулся, не раздумывая и не оглядываясь. Я кинулся навстречу выстрелам и испытывал странную радость. Это была радость одиночества, радость от того, что я сумел отделиться от прочих и необычайным поступком превзойти их.

Я испытывал потребность действовать, чтобы не впасть в маразм. В глубине души я чувствовал гнет всей этой посредственности. Она стала для меня самым большим мучением на войне. Она была слишком трусливой и для того, чтобы сбежать, и для того, чтобы победить. Она оставалась на месте четыре года, колеблясь между двумя решениями.

Я бежал неловко, с полной выкладкой на спине и с ружьем в руке, попадая ногою в колдобины. Вот в это время я и увидел мимоходом Клода. Он не заметил меня

и продолжал стрелять. Его тщедушное тело страшно сотрясалось от отдачи. Он был бледен, потрясен, растерян...

Я добежал до майора. До чего мы все переменились! На один миг я увидел двор казармы Пепиньер в Париже, в двух шагах от бульваров. Генеральский смотр! Наш милый майор не любил парадов. Здесь, на поле битвы, он был более на месте. Здесь он, очевидно, все обдумал заблаговременно. Он подготовился. Он знал, что его роль начнется в такой момент, как сейчас, а не на парадах, и не в канцеляриях. И все же он был потрясен и выбит из колеи.

Нынешнее поколение так далеко от смерти, от страданий, от подлинной природы! А ведь война — это взрыв природных сил. Эти пули, летящие вам в лицо,— это ведь руда, исторгнутая из недр земли. И одновременно это — конвульсии общества, этого толстого животного, которое казалось таким спокойным. Вы ведь об этом и мечтали, господин майор! Вглядитесь же в вашу мечту! Ваши представления о средних веках были элегантны и чисты. Правда, я не знаю, изучали ли вы, господин майор, средние века, как это делал я, историк по специальности. Но к вашим мечтам примешались домыслы ученого безумца, который соединил все отравы и зажег все огни ада.

— Ложитесь, чорт возьми!

Я нарочно, на зло, продолжал стоять на вытяжку, отдавая честь.

— Да ложись же, дьявол!..

Это Люк ухватил меня за шинель. Он был спортсмен и лучше меня понимал положение вещей.

Я хорошо помню взгляд, каким они оба глядели на меня. Это было то же недоверие, какое сквозило в глазах лейтенанта и сержанта. Что читали они в моих глазах? Моя бравада казалась им бесцельной. В ней было что-то преувеличенное, что предвещало скоро упадок. Мое требование тревожило их. Наконец, им смутно казалось, что все, что творится, происходит лишь в моей голове, а вовсе не на самом деле.

— Ладно! Передайте им, пусть отступят чуточку вле-

во, поближе к лесу, вон туда, в лощину. Здесь как раз будет размещена батарея 75-миллиметровых. Вы будете поддерживать действия артиллерии.

— Слушаю, господин майор!

Гордясь самим собой, я сквозь пули побежал обратно. В этот момент я внезапно увидел Матиго. Он был убит и лежал бледный. Именно так,— я представлял себе,— застигнет смерть и меня: пуля в самое сердце.

Матиго служил приказчиком в мясной лавке. Это был сварливый, неуживчивый парень, но с добрым сердцем. Смерть придала ему благородный вид. Матиго был первый убитый, какого я видел. Если бы сердце было вольно хотя бы под пулями, я бы остановился,— пусть смеется Рабютэн,— я бы кинулся к телу Матиго и поцеловал бы его. Прах Матиго так же сильно взволновал меня, как смерть моей матери.

Я благополучно добежал до своего лейтенанта. Я упорно смотрел в глаза ему и сержанту. Прежде они не признавали меня, а теперь я торжествовал. Но я был достаточно хитер и демагог, чтобы скрыть свое торжество. Я сделал вид, что растроган их раскаянием, которое стало возможным благодаря моей скромности.

— ...Да поймите же, мадам, я был ординарцем! — сказал я мадам Пражен с гордостью.— Мне приходилось бегать во все стороны, а пули здесь всюду сыпались градом, смею вас уверить.

Но как заставить понять, что на этих мирных полях, снова покрытых громоздкими стогами, на лугах, по которым ходят занятые своей жвачкой коровы, некогда бушевала ужасающая буря, огонь и гром? Здесь сражались между собой бог и дьявол и все воинство их. Мадам Пражен и мэр не чувствовали ничего. Да я и сам уже не чувствовал ничего. Я погрузился в мирную жизнь, я вошел в сделку с этими молчаливыми полями, с этими тучными коровами и этим мэром. И только одна мадам Пражен, из утонченного тщеславия, была целиком занята прошлым.

— Ну, а что же происходило днем? — спросила она.— Товарищ Клода, который был у меня в сентябре, сказал, что все видели, как немцы забрали Клода в плен. Где

были вы в это время? В котором часу это произошло?

Было странно думать, что и сейчас, 2 июля 1919 года, над нами здесь то же самое солнце, что и 24 августа 1914 года,— прекрасное, горячее, круглое солнце, наполненное запасом горючего на вечные времена.

— Я ведь уже говорил вам, мадам, что все это выдумки.

Она несколько месяцев внушала себе эту сказку. В начале войны такие выдумки фабриковались пачками,— люди фронта и люди тыла одинаково усердно создавали их из добрых и злых побуждений.

Любой эвакуированный молодец если не рассказывал каждому и всякому, что он видел, как сто тысяч казаков мчались галопом со стороны Фландрии, то шел к этакой богатой мадам Пражен и клялся всем святым, что ее сын попал в плен и находится в Германии в полной безопасности. За это она непременно давала ему пару золотых и тотчас же поднимала на ноги военного министра, министра иностранных дел, короля Испании, римского папу и всех на свете. Она заставляла всех разыскивать призрак ее бедного Клода среди стад, угнанных в плен за все время, протекшее от поражения при Шарлеруа до победы на Марне.

— Поймите же! Совершенно невозможно допустить, что его могли взять в плен. В этот день французы и немцы не приходили в непосредственное соприкосновение,— по крайней мере на нашем участке. Только вечером, продвигаясь вперед, немцы подбирали то тут, то там небольшие группки отставших или трусов.

— Мой Клод не был трусом!

— Ну, конечно!

У меня хватило лицемерия сказать это уверенным тоном. Но, в конце-то концов, что я знал? Правда, в начале похода Клод трусом не был. Скорее даже наоборот. Но вот пришел этот день, глубокий и бесконечный. Не пережил ли и Клод,— как я, как все мы,— целую жизнь за один этот день? Бывают события, бывают испытания настолько серьезные, что они сразу исчерпывают все наше существо, все его возможности. Когда я думаю о том

раздвоенном человеке, каким в тот день был я сам, я вижу, что все черты моего характера проявились тогда. Всю жизнь я, вероятно, буду одним из тех двоих, которые появились во мне в тот день. В тот день я открыл в себе храбреца и труса, друга и предателя, человека, которому и присущ и чужд здравый смысл.

Правда, за несколько дней перед битвой Клод — маленький, сутулый, но вытянувшийся, бледный, в съехавшем набок пенсне, стоял перед полковником руки по швам и умолял не эвакуировать его. Это было на краю дороги, во время отдыха. Полковник, спрыгнув с лошади, расправлял свои толстые ноги. Бельгийские крестьяне, разинув рот, смотрели на них.

— Но старший врач сказал мне, что у вас ноги в крови, что вы не можете тащить ранец. Вы вчера весь день отставали.

— Но ведь скоро битва, господин полковник!

Я был свидетелем этого. Но это были отклики тылового подъема. А вот, как-то он управится со штыком? Тутто и скажется вся нелепость этого подъема. В моем взводе был один парень, страдавший воспалением обоих яичек. Его эвакуировали только после трехдневного перехода. Он все время держал свою мошонку, как святое причастие. Среди галлюцинаций бешеного перехода фигура этого солдата стояла перед моими глазами, напоминая Ричарда Львиное Сердце. У меня в детстве была книга, в которой этот король был изображен верхом на коне, грудь которого увешана головами сарацинов.

Я бы все-таки очень хотел знать, что было с Клодом во время атаки. Ибо атака произошла.

— Разрешите мне, мадам, пройти к этой кирпичной стене.

Я все время смотрел на кирпичную стену, как завороженный. Я не мог отвести от нее глаз.

Мадам Пражен не очень быстро передвигалась на своих слабых ногах. У мэра была подагра. Но мы все же пробрались через овражки и колючую изгородь и пошли к этой стене, которая казалась мне тогда такой далекой и неприступной!

— А вот и каменоломни!

Я, как вкопанный, остановился у ямы.

— Ну?! — нетерпеливо воскликнула мадам Пражен.

— Вот сюда мы и свалились, когда полк вышел в атаку.

— И Клод тоже?

— Его я в последний раз видел в полдень, мадам, я уже говорил вам. Я не знаю, участвовал ли он в атаке.

— Если он был жив...

— Да...

Мадам Пражен продолжала итти, не обращая никакого внимания на мою яму, на эту благословенную яму, где была спасена и преобразилась моя жизнь, на яму, где произошло столько смешных сцен. Именно здесь для меня и еще нескольких других закончилась атака, подкошенная немецким пулеметом. Именно здесь объяснились между собой капитан Этьен и Жакоб. Именно здесь произошло и мое объяснение с капитаном Этьеном, да еще какое! Здесь для меня наступил перелом битвы.

Мадам Пражен нетерпеливо позвала меня.

— Идем к вашей кирпичной стене!

Она чего-то ждала от этой кирпичной стены.

— Ну, вот она, ваша кирпичная стенка! — сказала она, наводя лорнет на эту театральную декорацию из «Последних патронов» [1]. Стена была еще вся изрыта нашими пулями. Некоторые, значит, попадали все-таки! Это ясно. Недаром ведь немецкий пулемет несколько раз умолкал...

... Вот! Рядом с кирпичной стеной стояло что-то вроде голубятни, какая-то старая башня. Около полудня немцы ухитрились втащить на нее пулемет. В течение двух часов стреляли мы по этому пункту. И не только мы, пехота, из ружей,— слева от нас стреляли наши пулеметчики, хотя, правда, пулеметов у нас было мало, да и те каждый раз заедало, и они захлебывались и умолкали на долгие, для многих из нас смертельные, минуты.

Мы плевались пулями, мы расстреливали их полными лопатами, мешками, тачками и два или три раза выбивали немцев из голубятни.

---

[1] «Последние патроны» — патетическая картина Невиля, изображающая небольшую группку французских солдат, отстреливавшихся до последнего патрона в битве при Базей в 1870 году. (*Прим. ред.*)

Тогда для них наступала минута героизма: надо было пройти под кирпичной стеной, подобрать трупы, которые мы наколотили. Охотники — в начале войны их было много — толпились друг за другом в очереди, как у театра. Много званых, мало избранных! Сколько их, этих китайских теней на кирпичной стене, промелькнуло перед моими глазами... Взобравшись наверх, многие из избранных мало-по-малу превращались в решето.

Но покуда они жили, они причиняли нам много вреда, их стрельба охватывала всю занятую полком долину. Поэтому нам хотелось не только изрешетить их, но разорвать, раскрошить.

Я обернулся и стал смотреть на поля, на которых мы в этот день лежали. Я смотрел на края ямы, в которой я укрывался, глазами немца, нацеливавшегося в меня отсюда.

Это поле битвы не сохранило никаких следов ее, если не считать царапин на стене. Я смотрел теперь на него с пренебрежением человека, видавшего виды. Это ведь были пустяки по сравнению с Верденом. Да, в тот период война была не таким уж страшным делом. Современная война, настоящая, объявилась не сразу: она приручала нас понемногу, исподволь. Она начала скромно, без особого шума, без особых усложнений.

Для начала игры была введена довольно деликатная и аккуратненькая игрушка — пулемет. Из трех тысяч солдат нашего полка в этот день полегло только пятьсот.

Но и в этот день мы все-таки испугались. Мы еще не знали тогда ни мин, ни «чемоданов», ни ураганного огня, ни газов, ни измен в тылу.

В тот день артиллерия наделала больше шума, чем беды. Утром мы о немецкой артиллерии и не думали. Ее не было перед глазами, и мы о ней не вспоминали. Еще немного, и мы бы поверили, что война ведется без артиллерии. Но она уже двигалась по дорогам вдали. Она надевала очки, чтоб увидеть нас.

Сначала мы не очень верили этому. Свист снарядов слышался то тут, то там. В разных местах раздавались выстрелы. Но мы не разбирались во всем этом, потому что наша артиллерия выступила раньше неприятельской.

Но вот над нашими головами пронесся необычный и значительный свист. И вдруг огромный взрыв потряс землю позади нас. Мы были ошеломлены. Так вот она, война!.. Это уже не люди! Это действует бог, сам бог, великий, жестокий и неумолимый. Опять вой... На сей раз... Нет... Но... Но мало-по-малу угроза приближается, принимает все более реальные, ощутимые формы. Это уже не угроза. Это — сама опасность, огромная, всепоглощающая, всеведущая, всемогущая.

Потом все стало усложняться. Протяжный вой бризантных снарядов. Треск шрапнели. Пришло разнообразие, мучительное, извращенное, хищное разнообразие. Небо стало оживать. Небо это — ад! Что это за поезд, грохоча колесами на стыках, пронесся по воздуху? Из этого поезда вылезает банда убийц, позволяющих себе ужасающие шутки: они бьют нас по щекам, хлещут, швыряют наземь.

Каждое мгновенье ожидаешь, что взрыв разорвет на тебе все мясо.

Крик сзади! Первый человеческий крик войны! Наш полк задело. Несколько человек уничтожено.

Нам понадобился целый час, чтобы освоиться. Освоиться? Это так говорится. Ни с чем нельзя освоиться, и меньше всего с этим. По крайней мере я,— да и еще кое-кто,— мы так и не сумели освоиться. Но вся масса!? Она-то ведь привыкла к страданиям, она ведь всегда принимает страдания терпеливо!

Впрочем, этот день был еще не страшен по сравнению с другими, которые наступили впоследствии. Долина оставалась долиной, поля оставались полями. Даже корова, и та оставалась жива почти до самого вечера. И все-таки наши мозги начала охватывать полная растерянность.

Армия начала расстраивать ряды. Части оторвались одна от другой под первыми ужасами огня. Они уже с трудом различали одна другую, а скоро и вовсе потеряют друг друга из виду.

Четыре года подряд все их усилия и страдания будут итти параллельно друг другу и никогда не сольются воедино. Артиллерия и пехота искали друг друга, но не находили. Неизвестно было, где генералы. Мы все стали уже

просто отдельными группками, затерявшимися в жестоком одиночестве современного поля битвы. Каждый сам рыл себе могилу. Каждый стоял перед судьбой в одиночку. Впрочем, судьба каждого в отдельности ничем не отличалась от судьбы всех прочих, ибо все было построено на научных основаниях. Это было серийное производство, а не шум разнообразия!

Мы уже посылали ординарцев на артиллерийские батареи, но они не возвратились. Мы решили, что артиллерия нас оставила, что нас покинули на произвол судьбы. Мы стали жаловаться на все и на всех, ибо все оказывалось ужасным — и друзья, и враги. Мы снова посылали на батарею гонцов одного за другим. Но либо они не доходили до места, либо артиллерии было не до нас. Ах, уж эта артиллерия!

Положение стало ухудшаться. Немцы надвигались медленно, но верно. Им помогал все более и более интенсивный огонь их батарей. Мы стали убеждаться, что у нас артиллерии нет или ее очень мало и что немецкая гораздо сильней. И пулеметов у них было больше.

Как ни часто мы их слышали, но видеть немцев нам так и не удавалось.

На лоне природы видны были одни только наши красные штаны. Только они одни оживляли пейзаж.

Безмозглое тщеславие, изумительное идиотство наших генералов и наших депутатов!

Мы еще не знали тогда, что у неприятеля они временами оказывались еще глупей, чем наши.

Внезапно в самой гуще наших пехотных рядов появилась 75-миллиметровая батарея. Она вызвала сенсацию. Ее лихой въезд произвел на нас огромное впечатление. Как раз в эту самую минуту немцы вышли из лесу. Они двигались густыми рядами. И вот 75-миллиметровая открывает сногсшибательный огонь. Раз, раз, раз! Шесть выстрелов по шести скирдам, расположенным прямоугольником. И с каждой скирдой взлетает в воздух целая куча немцев. Лейтенант встал во весь рост посреди нас и все время испускал ликующие возгласы. Нас это захватило. Впрочем,— теперь мы это видели своими глазами,— это была еще довольно гуманная война.

Если бы мы сами не находились под обстрелом пулемета с голубятни, мы могли бы поддержать нашу артиллерию. Мне пришла в голову блестящая мысль попросить о переброске моего взвода. На поддержку артиллерии! Это открывало перед нами блестящие возможности. Ибо если наша артиллерия слишком разойдется, она окажется под угрозой. Эта угроза пришла не сразу. Нас даже охватило понапрасну чувство удовлетворения. Но мщение все же пришло. И, конечно, оно обрушилось вовсе не на артиллеристов, а именно на нас.

Какую потрясающую нелепость выдумали наши генералы для защиты от вражеской артиллерии! Целый взвод должен броситься наземь в кучу, ранцами кверху! Это называется «щитом черепахи». Какая нелепая попытка — спастись от современной механизированной войны приемами, достойными эпохи древнего Рима! Мы прижимались друг к другу кучами, человек в сорок-пятьдесят, топорща спины. Наши ранцы, образуя своего рода настилку, едва ли могли бы спасти нас даже от шрапнели и осколков, но уж вовсе никуда не годились против бризантного снаряда.

Мы были в двух шагах от передовой батареи, очень скоро взятой на прицел. Повинуясь правилам, выработанным в тихих канцеляриях, мы представляли собой гору мяса, приготовленного для рубки. При таком способе защиты немцы уложили бы сорок жертв одним выстрелом.

В наш взвод они не попадали. Снаряды ложились вокруг да около, но мы узнали об этом лишь впоследствии. А в то время каждый близкий взрыв снаряда разрывал нам сердце на части.

## III

Мадам Пражен была недовольна мною. Ее нисколько не интересовало это поле битвы. Я напрасно задерживал ее.

У нее было лишь отвлеченное желание видеть то место, где умер ее сын. Но по-настоящему рассматривать место, где был он убит, она вовсе не желала. Она не знала, что такое война, и не хотела этого знать. Это всецело отно-

сится к компетенции мужчин. Женщин это не интересует. Из области мужской компетенции ее, как женщину, интересовали только почести. Несколько образов владели ее воображением. Ее муж был крупный делец, у него был орден Почетного легиона. Ее сын погиб на поле чести...

Когда такие женщины почему-либо освобождаются от непосредственного влияния их женской природы, они создают себе отвлеченные образы, руководствуются только ими и отдаются им еще более полно, чем мужчинам. Однако должна же была она подумать и о страданиях своего сына, постараться представить себе, что он пережил.

Что она могла себе представить? Вот вопрос, который я все время задаю себе с мучительным любопытством. Что можно представить себе о страдании, которого сам не испытывал?

Мы забываем слишком скоро. Это заставляет думать о бессилии нашего воображения. Когда через месяц после этой битвы я читал «Разгром» Золя, я нашел там собственные переживания. Но мадам Пражен ни к людям, ни к вещам не питала такой любви, как Золя.

Иногда я пытался заговорить с ней на эту же тему, будучи не в силах примириться с полным взаимным непониманием двух человеческих существ.

— Я надеюсь, что он не страдал,— неизменно повторяла она.

Она убедила себя в том, что он не страдал, для того, чтобы ее не беспокоила мысль об этом. Это была единственная самозащита. Но однажды, возмущенный таким лицемерием, я воскликнул:

— А, быть может, и страдал, мадам.

Тогда она ответила:

— Перед ним раскрывалась такая блестящая карьера! Он, вероятно, страдал от того, что ему пришлось всем этим пожертвовать.

Я смотрел, как эта женщина быстро и поверхностно оглядывала через лорнет наше поле битвы. Я задрожал той дрожью, которая не покидала меня в течение всей войны. Ни одна женщина не разделит моего страдания. Но мы-то разве знаем, что чувствуют они, когда вынашивают детей и рожают?

У нее были основания торопиться. Она хотела пойти на кладбище. Там имелась одна могила, которую считали могилой Клода. Мы оставили кирпичную стену и медленно пошли на кладбище.

Его устроили немцы в том самом лесу, в котором некогда мы старались укрыться.

Кладбище было очаровательно. В нем проявил себя гений северян. Это был большой квадрат, проложенный в чаще. Посередине — одинокая могила. Они оставили на месте почти все деревья. Вокруг скромных крестов выросло много травы.

Какой покой! Это простое слово сразу пришло мне на уста при входе на это кладбище. Я был захвачен контрастом между царящей здесь тишиной и смертельным шумом, который ее породил и теперь снова наполнял мой слух.

Я хорошо знал, что разницы между жизнью и смертью нет, что смерть, разбрасывающая газы, так же активна и так же шумлива, как и жизнь... Я видел химические взрывы в подземелье, в общем лабиринте, где смешались пятьсот нормандцев и пятьсот саксонцев, людей несомненно одной расы, брошенных, чьей-то рукой друг на друга. Но велика была все же иллюзия покоя на этом кладбище. Иллюзия абсолютного покоя, небытия! Мог ли я, однако, поддаться очарованию этой нежной травы и склонившихся деревьев? Нет! Я помню, что в день битвы, когда жизнь была так ужасна, я не желал этого небытия, к которому обычно стремятся, когда хотят умереть. Таково благотворное действие всякой активности.

Впрочем, мог ли бы я почувствовать то, чего не могу постичь? Все, что мыслит во мне, то есть все, что во мне есть живого, восстает против идеи небытия. Для меня смерть не есть небытие. Для меня это — продолжение жизни: ад и рай неотделимы один от другого.

Только один раз я вплотную подошел к мысли о небытии. Это было, когда я хотел покончить с собой. За несколько дней перед битвой я почувствовал страх. Как-то я рассматривал свое ружье. Сладостное желание охватило меня всего при виде черного отверстия ствола. Что это было? Неужели небытие покорило меня? Нет, это была

только баюкающая иллюзия самоубийства. Яд этой мысли обратился в моей душе в успокоительный бальзам. Мысль о самоубийстве — горький бальзам для тех, кто не кончает с собой.

Прогуливаясь в призрачной тени этого маленького саксонского кладбища, я вспоминал те минуты, когда я со всех ног мчался к этому лесу, к этому кладбищу. Я был тогда ранен шрапнелью в голову. В первую минуту мне показалось, что я убит. От сильного потрясения все во мне замерло, а ноги мои продолжали бежать по направлению к лесу. Но тотчас же, едва ли не в тот самый миг, когда я был ранен, я сказал самому себе: «какое счастье!»

Счастье было не в том, что вот я освобождаюсь от всего этого, от невыносимого огня, от себя самого, а в том, что мне дано все это познать. «Я узнаю, что такое смерть». Вот мысль, которая молнией пронеслась в моем мозгу. Мысль высшего и чистейшего любопытства, мысль метафизическая, ощущение чисто интеллектуальное.

Вероятно все это было так потому, что рана оказалась легкой. Я не почувствовал прикосновения смерти, не узнал пытки ее приближения. Напротив! Эта рана давала мне права и привилегии. И, наконец, самое главное — мне не было больно. Под Верденом, когда мне было больно, я так не рассуждал, чорт возьми! Тогда я проклинал весь мир. Это, правда, ничего мне не дало. Но от этого неосмысленного, бесформенного возмущения должно было родиться новое сознание, не столь расплывчатое, более определенное,— должна была родиться новая форма жизни, сознание зрелого человека.

Мадам Пражен прогуливалась с лорнеткой в руках.

Очаровательное кладбище! Легкий ветерок играл в деревьях, и могилы этого молодого кладбища были похожи на могилы старых кладбищ. Разрушения, причиненные войной, принимали те же формы, что и разрушения, причиненные временем. Большинство могил были безымянны и, следовательно, заброшены. Лишь несколько из них были убраны цветами. Три моих товарища по Политехнической школе [1], так же, как и я, попавшие в этот париж-

[1] Высшее военно-инженерное и артиллерийское училище в Париже. (*Прим. ред.*)

ский полк, лежали здесь рядышком. Они все вместе были убиты одним снарядом. Мэр сказал, что то, что от них осталось, занимало меньше места в гробу, чем их имена занимали на табличках. В гробы нечего было класть.

Здесь было пятьсот немцев против пятисот французов. В общем наша 75-миллиметровая пушка причинила не меньше бед, чем их пулеметы и тяжелая артиллерия. Штаны серо-зеленого цвета спасли не больше народа, чем погубили красные штаны.

Посередине кладбища находился прах генерала, барона.

— Браво, господин генерал! Вы дали себя убить!.. Совсем как в доброе, старое время!

Но мэр объяснил мне, что генерал был пристрелен в живот каким-то раненым сенегальцем, который плелся по дороге, уже вечером, после сражения.

## IV

Что они делали, эти тысячи людей? Что они сделали все вместе? Чего они добились общими усилиями?

... В этот день армия была неподвижна. Люди с самого утра валялись под огнем. Сами они стреляли так лениво, точно у них у всех болел живот.

Мне казалось, что самой инертной частью войск был мой взвод.

Но среди дня пришло время, когда что-то задвигалось по-настоящему. Откуда это пришло? Извне или от нас самих? От командования или по нашей собственной воле?

Раньше всего пополз по земле слух: «Победа! Наши наступают по всей линии. Мы тоже скоро двинемся вперед».

Мы перестали изображать «черепаху» и ползком разбрелись в разные стороны. Начали появляться новые люди,— неизвестно откуда, из других полков. Какой-то маленький, черный, полный задора капрал бросился прямо ко мне. Он поторопился сообщить мне, что он из Сентонжа. Мы смотрели друг на друга с удовольствием и доверием. Мы признавали друг друга храбрецами, людьми, которые представляют собой соль армии. Каждый из нас

при взгляде на другого чувствовал себя еще храбрей. Мы стали с презрением и угрозой смотреть на тех, которые, распластавшись от страха, лежали вокруг нас на земле. Мы даже вступили в заговор против их неподвижности. Или, быть может, мы прониклись жалостью к их страданиям, порожденным этой неподвижностью? Мы повели агитацию в пользу войны, мы говорили о победе как об особом виде революции. Новая страсть стала реять над валявшимися здесь одиночками,— над людьми, из которых каждый оставался один-на-один со своим маленьким побитым и стонущим «я». Новая страсть реяла над ними и покрывала их своим крылом.

— Довольно мы ждали, довольно терпели! Это не дело — этак вот давать себя убивать. Немцы-то, небось, наступают. Они такие же люди, как мы! Почему надо дать себя разгромить? Лучше самим победить. Вперед! Майор говорит, что мы перейдем в наступление. Майор крепкий малый, этот рыжий, чудаковатый парень! С таким можно итти!

«Бывают речи,— как говорит Тацит,— которые сами ползут по земле». Решительные слова ползут и находят дорогу.

Сбор всего взвода был назначен там, под деревом.

— Кончилась поддержка артиллерии. Они в нас не нуждаются. Они здорово работают, артишоки! Стоит посмотреть на них, как они работают! Они скинули куртки! Штык примкни! Надо во что бы то ни стало взять эту мельницу, эту голубятню, нанизать на штык, как на вертел, этих паршивцев с голубятни!.. В чем дело? Мы здесь все мужчины, все товарищи! Полк-то существует? Что бы ни случилось, он будет существовать! Чего же мы дожидаемся?! Полковник, знамя — все это ерунда, и музыка тоже, и лошади тоже. Есть среди нас парни — не бабы. Это-то и есть полк, ядро. А остальные — за нами!..

Несколько офицеров и несколько солдат.

Равнина, распластавшаяся под солнцем, была раздавлена германской тяжелой артиллерией.

Вместе с безостановочным потоком пуль, с севера надвинулись пулеметы. Какая разрозненная толпа! Какие

неясные чувства и острые ощущения! Как растеряны люди, предоставленные самим себе!

Мы как бы поднялись над всем этим и оглядывали свысока долины. Есть закон необходимости. Было необходимо, чтобы что-нибудь произошло. Поэтому и произошел этот сбор, около двух часов дня... Всем надоело сидеть без дела. Была потребность делать что-нибудь.

— Значит, пошли? Ну, конечно, пошли! Ты идешь? Ну, еще бы! Все идут. Никто не остается! Эй, вы! Кто первый? А почему одни должны итти раньше других? Нас и так мало! Где остальные?

— Надо же, чтобы кто-нибудь,— чтобы кто-нибудь поднялся первым!.. Надо, чтобы кто-нибудь распоряжался... Вот этот, который там встает с земли? Нет, меня от него тошнит. Но тогда,— кто же? Все равно! Кто-нибудь.— Не я.— Кто же, ты или он? — Я? — Я ведь только бедный солдат. Почему я?

Сначала я слушал эти толки рассеянно, но внезапно встрепенулся: но ведь я-то, я здесь, в конце концов! Я вспомнил о том, что я существую. Разве я раньше не занимался самим собой? Разве до этого я не чувствовал, что во мне что-то живет и двигается? Разве я не ощущал, как что-то набухает во мне, согревает меня, рвется наружу? Это было мое «я».

Что испытал я, когда вспыхнула война? Освобождение от казармы. Конец старым законам. Наступление новых возможностей для меня. Приближение нового уклада, новой жизни — молодой, удивительной, легкой. Это было так прекрасно, что казалось даже неправдоподобным. Меня одолевали сомнения. Я предполагал, что вся эта европейская мобилизация не больше, как блеф. Европа испугается той гигантской машины, которую она пускает в действие. Она ограничится чем-нибудь вроде больших всеевропейских маневров. До настоящей войны дело не дойдет.

«А если все же война грянет,— думал я,— то массы выйдут из повиновения и, за неимением оружия и снаряжения, разбредутся». Я думал также, что и правительства, за неимением денег, тоже скоро окажутся бессильны.

Я держал пари и обязался поставить товарищам три

бутылки шампанского, если только полк покинет казармы.

Вскоре мне пришлось признать очевидность факта: война началась. При первых же известиях о боях в России и Эльзасе мои надежды ожили.

Но мне было глубоко противно то, что происходило на бельгийской границе. Это тошнотное чувство осложнялось целым рядом личных неприятностей. Все это вместе с моей постоянной меланхолией привело меня к мысли о самоубийстве, о чем я уже намекнул выше. 20 августа мы сделали большой переход через Арденны. Меня больше мучила тоска, чем усталость. Я оказался разлученным со своими старыми приятелями — буржуа: они попали в другие роты. Тяготы войны приходилось делить с крестьянами и рабочими, но общих страданий мне было недостаточно, чтобы подружиться с ними. Разгадать предводителей я не сумел. Намечались только первые симпатии и антипатии. Мы еще только наощупь бродили вокруг подлинного опыта, и результаты неопытности тяжело сказывались на мне.

Я обливался потом, ранец оттягивал мне спину, ремень ружья резал плечо. И все же меня одолевала моя старая парижская внутренняя опустошенность. Как это ни удивительно, но я верил фантастическому слуху, который укоренился у нас в полку, что нас якобы драться не заставят, что нас поберегут для вступления в Берлин, так как мы-де являемся парижским парадным полком. Я — пессимист от природы, а этой бессмыслице я верил.

Но главное было не в этом. У меня было глубокое, пророческое какое-то убеждение, что война эта, со всем множеством ее мобилизованных стад, для меня лично окажется не очень выигрышной, что казарменная скука будет продолжаться без каких бы то ни было перемен. Меня мучило мое подчиненное положение. Приключения войны мне приходилось переживать вместе с простыми, ничем не замечательными людьми. Событие, которого я одно время так ждал, становилось безвкусным и пошлым из-за окружавшей меня среды. От презрения к моим офицерам и солдатам я в одно прекрасное утро забрался в какую-то ригу, где зарядил ружье. Душистый запах сена сразу, как теплый хмель, охватил меня.

Я был один в этой риге. Солдаты были на речке, стирали белье. Свое белье я успел отдать в стирку. Нашелся солдат, который за плату выполнял за меня все грязные работы.

Я сказал себе, что я во всем мире так же одинок, как здесь в этой риге. Мой лучший друг умер, не дождавшись войны,— плеврит унес его в несколько дней. Клод Пражен, тот не думал обо мне, как и я не думал о нем. Жизнь ничего мне не дала. Как определить, что даст мне агония? На славу я больше не рассчитывал.

Предательская дрожь долго задерживала меня в этой риге, полной благоухания. Я почувствовал внезапно, что я ничего не хочу, ничего не могу, что одна только вещь манит меня — черное отверстие ствола моей винтовки. Этот маленький вытекший глаз уставил на меня свои круглые и пустые стальные веки.

Жуткий страх начал овладевать мною. На охапку сена я положил письмо к моему младшему брату. Он был еще ребенком, и я больше всего боялся смерти именно из-за мыслей о нем. Потом я снял башмак, носок. Я ощупывал ружье, этого странного товарища с вытекшим глазом, который ждал только маленькой ласки, чтобы выжечь мне душу.

Вдруг в ригу вошел солдат, стиравший мое белье. Он вошел и посмотрел на меня. Иногда достаточно одного человеческого взгляда, чтобы снова привязать вас к жизни. О, добрая рига и будничное лицо этого крестьянина!

Все время пребывания на этой равнине я был в растерянности. Но вдруг надежда всколыхнула мои силы. Это была надежда на то, что сейчас развернутся события, которые покончат с глупой, старой иерархией, выработанной в тишине мирных дней. Бог отмечает избранных! Эта равнина станет тем полем, на котором решится моя судьба. Война интересовала меня потому, что я должен выдвинуться, стать капитаном, полковником,— почем знать,— быть может, и больше,— предводителем.

В этой пустой долине развернулось мое «я».

Приподнявшись, я стал осматриваться во все стороны. Я не увидел ничего, но за это время я успел показать

себя другим. Меня заметили, на меня обратили внимание, меня окликнули.

Кого избрать? Меня! Никого нет, кроме меня. Разве этого недостаточно? Разве это не громадно?

Я выпрямился во весь рост. Произошло нечто необыкновенное. Стоя здесь, между мертвыми, я узнал, что значит благодать и чудо. Есть в этих словах что-то близкое человеку. Они обозначают преуспевание, радостный трепет, ликование, расцвет. Они обозначают также и сумасбродство, и бред, и опьянение!..

Я сразу осознал самого себя, свою жизнь. Значит, это я — этот силач, этот вольный человек, этот герой! Значит, это моя, моя жизнь ознаменована этим подъемом, которому никогда не будет конца.

Я и прежде иногда предугадывал это кипение молодой, горячей крови, в котором сказывается зрелость мужества. Я чувствовал в себе трепет пленника, готового устремиться на свободу. Я был пленник жизни, которую мне создали другие, которую создал себе я сам, я был пленник толпы, сонливости, унижений.

Во мне неожиданно проявился предводитель. Не просто человек, а предводитель. Человек, который не только отдает самого себя, но и овладевает. Предводитель — это человек в полном смысле этого слова,— человек, который в одном порыве и отдает себя и овладевает другими.

Я был предводитель. Я хотел овладеть всеми людьми, окружавшими меня, увеличить себя ими, увеличить их собой. Я хотел, чтобы они всей массой, со мною во главе, пустились через всю вселенную.

Все зависело от меня. Вся эта битва, и завтрашние битвы, и завтрашние революции — все это лежало только на мне, все ждало только меня, умоляло и искало своего разрешения только во мне. Весь мир зависел только от меня. Стоило мне захотеть, и все устремилось бы в одну точку, все совершилось бы, все утвердилось бы.

Стоило мне встать, выпрямиться на поле битвы, и все это движение достигло кульминационной точки; вся эта человеческая масса выросла, ибо увидела, что дело завершено.

Я держал в своих руках победу и свободу. Свобода!

Человек свободен, ему дозволено все, чего он хочет! Человек есть часть мира. А в минуты восторга, в минуты, когда она соприкасается с вечностью, каждая часть мира имеет право осуществить все свои возможности. Победа!..

Победа людей. Над кем? Ни над кем! Над всем! Над природой? Дело не в том, чтобы победить природу или превозмочь ее, а в том, чтобы осуществить предельные возможности природы! Могущество — внутри нас! Дело не в том, чтобы с помощью мужества одолеть страх, а в том, чтобы растворить страх в мужестве и мужество в страхе и, отдавшись порыву, дойти до крайней его точки.

Есть ли на свете вообще что-нибудь, кроме порыва? Разве он не является самоцелью?

Ради чего мы дрались?

Ради драки.

Бросить этих вот французов против вон тех немцев, заставить французов обрушиться грозой на немцев. И обратно. Всегда возможна противоположность. В каждую данную минуту общий итог зависит от меня. Франция и Германия существуют со времен Иисуса Христа. Галлы и германцы. Ничто не переменилось с тех пор. Они вечны, как Египет и Вавилон. Они не способны ни победить, ни быть побежденными.

Битва на равнине — эпизод вечной войны. У нас не было цели, у нас не было ничего, кроме нашей молодости.

Мы кричали. Что мы кричали? Мы мычали, как скоты. Мы и были животными. Это не мы прыгали и кричали, а те животные, которые живут в людях, животное начало, которым живет человек. Это то животное, которое занимается любовью, ведет войны и устраивает революции.

Мы теперь кричали: «да здравствует Франция!» Ну так что ж, в любовных порывах мы не раз выкрикивали имена женщин.

«Да здравствует Франция!» — Я надеюсь, что в своей жизни буду еще иметь повод выкрикивать что-нибудь другое. Этого крика была недостаточно для нас. Но дело не в этом. В конце концов нужно какое бы то ни было имя для того, чтобы дело стало жить.

Я отдавал всего себя раза два или три в сражениях

и столько же раз отдавал себя в любовных объятиях. Я отдавал себя. Обратно я ничего не получу. С этим кончено.

Сейчас я стал успокаиваться. Меня уже не так волнует мое грустное прошлое и то мучительное утро. Думаю, что это началось во мне еще с того момента, как прожужжали первые пули. Это вот и есть непосредственный рефлекс на такое раздражение. Сперва он слаб, затем с часу на час он усиливается и создает огромную, необычайную, переливающуюся через края реакцию. Его напряженная сила может быть уничтожена только смертью.

Я пустился со своими солдатами вдоль леса. Большинству из нас предстояло быть здесь погребенными. Сейчас он и обратился в очаровательное кладбище.

В ту минуту я чувствовал единство жизни. Одинаковое право на движение имеют голод и любовь, действие и мысли, жизнь и смерть. Жизнь представляет единый поток, единый порыв. Я хотел и жить, и умереть в одно и то же время. Я не мог желать жить без того, чтобы не желать умереть. Я не мог мечтать о полной, захватывающей жизни без того, чтобы не мечтать о смерти, без того, чтобы не принять свое уничтожение.

Я кричал, я бегал, я звал. Как необыкновенен я был! Как все чувствовали, что я необыкновенен! Признавая меня, они в то же время признавали во мне самих себя. Они были удивлены так же,— как я, нет, все-таки больше меня. Но скоро они двинулись так решительно, как если бы они всю жизнь мечтали о подвиге. Благородство свойственно всем.

Я был велик, я был гигантом на этом поле битвы. Моя тень покрывала и еще до сих пор покрывает его. На каждом участке фронта вырастал такой герой. Вот почему сражение не умирало, а возрождалось с новой силой.

Я кричал, я бежал вперед. Я работал изо всех сил. Я подымал людей, я отрывал их от земли и бросал вперед. Я их тащил, я их толкал, я их организовал для наступления. Я кричал. Я действовал.

Мы продвигались вперед группами, пачками, появляясь то тут, то там. От удивления люди вставали. Они удивлялись тому, что они стоят во весь рост, что они люди.

Превозмогая робость, они смело пускались бегом вперед.

Мы бежали, сами не зная куда. Впереди нас ничего не было. Никого и ничего не было впереди нас. Никто не поднимался навстречу нам,— даже огонь притих, как бы от удивления. Ах, если бы немцы сделали то же, что мы! Или если бы мы два часа назад сделали то, что делаем теперь! Тогда мы бы видели друг друга, мы бы встретились, сошлись, схватились бы!

Но они загородили себя пулеметами и ружьями. Схватки не было. Схваток вообще не бывает — или очень редко. Во всяком случае, в эту войну настоящих схваток не было.

И именно тогда, именно в эту минуту произошло банкротство войны. В эту войну Война обанкротилась. Люди не поднялись среди этой войны, они не подымались,— по крайней мере, все сразу. Они ничего не преодолели, не превзошли, не довели до конца. Они не побросали оружие,— это хитроумное и порочное железо.

Они не встретились, не столкнулись, не схватились.

Люди не были людьми, они не захотели быть ими. Они не сумели стать достойными этого звания. Они не захотели переступить границы этой войны и перейти к другой войне, к вечной войне человечества. Они упустили эту возможность. Это не удалось им, как не удается иной раз революция...

Они были сломлены этой войной. Плоха та война, которая ломает людей. Современная война — война машин, а не мускулов, война-наука, а не искусство, война промышленности, война торговли, война контор, война газет, война генералов, а не вождей, война министров, синдикалистских вожаков, императоров, социалистов, демократов, роялистов, промышленников и банкиров, стариков, женщин и мальчишек; война железа и газов; война, которую создавали все, кроме тех, кто воевал,— война передовой цивилизации.

Никто не сумел одолеть эту войну. Русские, те ушли.

Что-то в мире неладно, раз люди не сумели одолеть эту войну. Надо, чтобы человек научился управлять машиной. Машина истребляла его во время войны и теперь уничтожает его в обстановке мира.

Я кричал. Я стоял посреди поля битвы. Я бежал. Я спотыкался и кричал. Какая язва осталась у меня в горле от криков войны!

Люди бежали. Мы бежали, мы спотыкались, мы падали. Ах, мы были не так одеты, чтобы сражаться и побеждать. Мы были одеты, как конторщики, как Тартарены[1], напялившие на себя толстое сукно и увесившие себя разными принадлежностям. Мы были одеты не как мужчины. Мы не могли победить. Нас приучили к казарме, потом отучили от нее,— хотя и плохо,— потом снова стали приучать. Нет мы не могли победить. Я мечтал раздеться донага, освободиться от своего костюма.

Я бежал, кричал, звал. Я звал французов, и немцев.

Я помню сцену, происшедшую два года спустя, среди мук Вердена. Прямо против меня стоял тогда громадный детина, немецкий офицер Фриц фон-Х. и кричал. Он звал меня. Но я не отвечал, а издали стрелял в него.

В эту войну люди звали друг друга, но призывы оставались без отклика. Я почувствовал это после того, как пробежал целую вечность. Все мы это почувствовали. Я почти не подвигался вперед. Я только и делал, что размахивал руками и орал.

Я спотыкался и падал. Все окружающие тоже спотыкались и падали. Я чуствовал это. Я чувствовал, что человек во мне умирает.

Немцы соблазнились и возобновили огонь. И какой! Град пуль! Как легко пробить один сантиметр тела, если пустить в ход целую тонну стали.

Я размахивал руками, я орал до тех пор, пока не зацепился за что-то и внезапно упал.

Нас было несколько человек. Мы все стали навеки товарищами в эту минуту, длившуюся столетие.

Мы свалились в яму. Нужно было передохнуть, отдышаться. Надо ведь бежать дальше. Мы собирались бежать дальше, но...

Еще и до сих пор мы все лежим в этой яме. Выбраться

---

1. Герой серии романов Альфонса Додэ — наивный враль и хвастун, любивший наряжаться во всякие охотничьи и военные доспехи. (*Прим. ред.*)

из нее нам так и не удалось. В эту войну возник было порыв, но тотчас же и разбился. Он ни к чему не привел. Слишком он был нечеловечен, слишком перегружен сталью, избит железом. Слишком уж нечеловеческое сопротивление встретил этот порыв.

Наша атака умерла после атаки немецкой.

Прошло немного времени,— минута или час? — пока мы поняли, что представляет собой наша группа в этой яме. Мы быстро стали устраиваться. Мы почувствовали себя, как дома. Мы успели так хорошо отдохнуть, что решили больше не вылезать, стали устраиваться на месте. Здесь не было почти никого из моего взвода, из моей роты. Был тут капитан и несколько рядовых из другой роты и еще какой-то капрал из незнакомого полка, и нормандский крестьянин, тот резервист, который первый заговорил о славе.

В этой яме мы были укрыты не только от пуль, но и от солнца. Битва шла где-то над нами. Она развертывалась в другом мире, который обжигало беспощадное солнце.

Немецкая артиллерия била в тыл, в то место, откуда мы ушли. Мы, оказывается, все же выиграли, снявшись с места.

Мы принялись за стрельбу. Штыки только мешали нам. Мы спрятали их в ножны. Мы отказались от самой мысли схватиться с немцами, встретиться лицом к лицу с живыми людьми. Мы отказались от этого на все время войны. Если кто из нас и приблизился к невидимому и далекому врагу, то лишь на глубине кладбищ...

Мы не знали, что происходит вокруг нас. Мы не задумывались о том, продолжается ли атака. Для нас, попавших в эту яму, она во всяком случае закончилась.

С какого времени стали меняться мои взгляды на сражение, на всю эту войну? Началось ли это с того момента, когда я стал понимать, что дело наше плохо? Или с того времени, как мне стала противна эта армия, которая не сумела довести до конца свой порыв?

Дело наше было совсем плохо. Кто не нападает, на того нападают. На поле битвы началось еле уловимое движение,— медленное, но неуклонное перемещение сил. Нем-

цы двинулись. Они продвигались вперед. Их становилось все больше. Они господствовали.

Они господствовали на земле и на небе. Они захватывали небо, как захватывали землю. Небо принадлежало им. Этот потрясающий шум, который усиливался, рос и заполнял небо, исходил от них. У них была огромная, подавляющая артиллерия.

С нашей стороны не было ничего или очень мало,— ничтожная артиллерия.

Полностью подтвердилось все, что нам говорили. Мы не были подготовлены к войне. У нас не было и самого необходимого. Мы были пропащий народ вместе с нашими депутатами и нашими генералами. У нас красные штаны, и нет пушек, и нет пулеметов.

Жалкие шесть пулеметиков, какие имелись в нашем полку, либо молчали, либо бессильно кашляли у лесной опушки. Орудие 75-го калибра столько же истребляло немцев, сколько их пулеметы истребляли французов, но его больше не слышно.

Пулемет на колокольне, на которую мы бросились, оставался в полной сохранности. Он торжествовал в своем неутомимом бешенстве. Впрочем, мы его уже не замечали. Он затерялся среди прочих сил, обрушившихся на нас.

Что значит один пулемет среди всего этого грохота, который затопил нас?!

Какой это был адский грохот! Только впоследствии я узнал результаты. Разговоры немцев в селе, переданные мне мэром, снова подтвердили эти итоги: пятьсот человек убитыми потерял наш полк в этот день. Эти пятьсот Матиго погибли во время атаки от пулеметов, а не от неумолкающих пушек. Атакующие Матиго были подкошены и улеглись в своих красных штанах, сжимая винтовки с примкнутыми штыками.

Погиб среди них и наш воспитанник Сен-сирской военной школы; был у нас такой сен-сирец с плюмажем и в бальных перчатках.

Где было знамя? Вообще «где прошлогодние знамена?»[1]

---

[1] Парафраз припева популярной баллады поэта-бродяги XV века Франсуа Вийона: «Где прошлогодние снега?» (*Прим. ред.*)

Где был полковник? Здесь не было ничего неожиданного. Дед рассказывал мне такие же вещи. Болтуны Второй империи, болтуны Третьей республики. Моя бабушка, роялистка, презирала принцев, потому что они оказались трусами, которые только и умеют, что дать себя гильотинировать. И мой отец презирал трусов. Он заявил, что ему наплевать на Францию, раз она отдала Страсбург. (Плюйте теперь вы, германские отцы.)

Вокруг нашей ямы обстановка становилась все хуже. Немцы наступали. Я стрелял уже не так усердно, как раньше, когда был в ложбине. Я уже не был солдатом. После того, как я был предводителем, мне было противно вновь стать рядовым.

Пули сыпались на нас градом.

Кстати, представлял ли я угрозу для немцев? Мог ли я убить? У меня были жесты оратора, которые убивают. Пользоваться же штыком я не мог,— сил нехватало. А раз я не мог убить, значит я сам должен был быть убит.

Но у меня были приемы организатора. Они-то и сплотили вокруг меня людей, которые явились моей охраной. Я создал боевую группу, а это было куда как сильней, чем штык в моих хилых руках.

Сейчас все эти типы, окружавшие меня, стали мне противны. Я и сам себе противен. Они были мне противны, потому что плохо следовали за мной. Чего стоило дотащить их до этой ямы?! Следуя за мной, они не заставили меня итти дальше. Я опротивел и сам себе, потому что не сумел вести их лучше, и нуждался в том, чтобы меня подталкивали.

Артиллерия много грохотала, но мало попадала. Впрочем, она деморализовала нас в тот день, и этого хватило на добрых два года вперед. Только впоследствии все переменилось. Бедняги немцы сами погибли под американскими пушками. Я видел в 1918 году, как добрая старая немецкая пехота подыхала под напором американской индустрии. Ах, этот необыкновенный, всемогущий, уверенный в себе гром пушек! Это был голос бога! Истинный бог, длинный,— это он, старый грубиян, ворочал бочки у себя в погребе.

Вокруг нас серьезно хлестало. Становилось невозможно

удержать позицию, а в нашей яме не было ни убитых, ни раненых, потому что мы не вылезали на поверхность.

Но Жакоб вылез. Жозеф Жакоб. Он был из евреев. Это был парень не злой, не интриган. Он был красив собой, хоть и вульгарен, не очень умен, абсолютно не образован и скуп.

У него был красивый тонкий нос в веснушках.

Пуля угодила ему в живот. Он свалился с насыпи. Капитан Этьен подполз к нему на четвереньках, как будто насыпь была не достаточно высока. Командир 10-й роты капитан Этьен был христианин.

В течение целого года он придирался к нашему товарищу в казарме Пепиньер: он не хотел, чтобы еврей вышел в офицеры запаса.

Капитан Этьен с минуту глядел на Жакоба. Прямо ужасно, до чего этот Жакоб был французским патриотом. Он был готов умереть за Францию! Евреи не мало потрудились в эту войну за разные «отечества».

Капитан Этьен только что впервые познакомился с войной и делал отчаянные усилия, чтобы не признаться самому себе, что она ему не понравилась. Вид раненого придавал ему силы. Он не мог удержаться, чтобы не подойти к Жакобу. Тот уже позеленел. Правда, Жакоб должен был умереть, а на каких бы то ни было похоронах люди испытывают традиционную потребность разыгрывать комедию. Их великодушное отношение к умирающему — это первая лопата земли на крышку гроба. У Жакоба была пуля в животе, и он зеленел, но имел счастливый вид. Он воскликнул: «Да здравствует Франция!» и этим воодушевил нас.

Я был очень возбужден этим случаем. Я вылез на парапет и стал стрелять, издавая нечленораздельные крики.

Но дела наши становились все хуже. В особенности на левом фланге, у леса. Наши пулеметы окончательно умолкли. Немцы, стрелявшие с колокольни, изрешетили у нас одного за другим всех, кто только мог считаться пулеметчиком.

Немцы вошли в лес и стали продвигаться вперед. Скоро они поровняются с нами, обойдут нас с тыла. Мы будем окружены... Тогда все мы будем либо перебиты, ли-

бо забраны в плен. Умереть в этой яме, не двигаясь?!. Смерть предстала перед нами в довольно гнусном виде. Но эта гнусность была довольна приятна, она обещала прекратить весь этот шум...

И вот, в ту минуту, когда я уже, казалось, был раздавлен этим шумом, я сразу выпрямился от страха, от ужаса при мысли, что могу попасть в плен. Это еще хуже, чем казарма. А казарма даже во время войны внушала мне мысли о самоубийстве.

Едва я почувствовал угрозу плена, я пришел в состояние резкой взвинченности. Я как бы сразу проснулся. Но я уже не испытывал того подъема, как перед атакой. Я видел мир уже совсем другим. Он сузился до мысли о моей собственной судьбе, обо мне самом. Бывают люди с особой судьбой. Мне казалось, что было известное совпадение между моим порывом и порывом моего стада. Теперь я больше не верил этому. Я больше не верил, что представление удается. Удачи не будет ни в этот день, ни в последующие. Ее не дождутся ни немцы, ни французы. Люди дерутся, чтобы выразить что-то, изобразить, представить. Взгляните на пчел. Даже они живут затем, чтобы быть замеченными, чтобы фигурировать в какой-то роли. А нам это наше представление не удалось. Я считал, что виновата в этом вся труппа. Актеры были плохо подобраны ко мне, премьеру, который неожиданно проснулся и вошел на сцену. Хор не поддержал. Да и соперник не подавал голоса.

Мне все опротивело, мне стало скучно. Мне тут нечего больше делать. Мне захотелось уйти. Я был утомлен, подавлен, кажется, так же, как и голоден. У меня больше не оставалось спирта.

Были ли у меня в этот день естественные потребности? Я ни разу не помыслил о женщине в этот день.

Я не хотел попасть в плен,— вот прекрасный предлог, чтобы убраться отсюда.

Здесь-то и проявляется великое искушение. Дьявол подхватывает меня и проносит над полем битвы. Дьявол искушает меня гордостью. Дьявол зовет меня к выполнению долга гордых.

Я отвергаю общий слепой рок службы, я не хочу зате-

ряться в массе. Я хочу прорвать сеть, в которую я попал.

Я тоньше других. Я хочу сам выбрать свою судьбу. Я ведь не говорю, что «я не хочу быть убитым». Я говорю только: «почему надо быть убитым здесь, а не там»?

Эпизод, участником которого я сделался, кажется мне слишком ничтожным, смешным. Я хочу чего-нибудь другого. Моя смерть в этом затерянном углу будет бесполезна, напрасна. Кроме того, она грозит застать меня среди слишком уж ничтожных, смешных и ненавистных субъектов, с которыми я связался. Смерть представляется мне в уродливой маске капитана Этьена.

Надо разобраться! Конечно, была перед атакой минута, когда я, валяясь брюхом на земле, представлял собой ничтожество. Мне хотелось очутиться где-нибудь подальше, возле моей матери, или в тихом маленьком домике на юге, где можно спать по двенадцать часов в сутки и есть бифштексы, служа, скажем, сторожем при шлагбауме. Но как бы ни была велика моя склонность к самоунижению, даже к мазохизму[1], я не могу сравнить ту простую минуту с этой, которую мы переживали сейчас.

Переживания минуты не могли долго длиться. Они оказались быстро исчерпаны. Их не могло хватить надолго, ибо, что собственно это дает,— спасать свою шкуру? Зачем жить, если не пользоваться жизнью для того, чтобы швырять ею, как кирпичом в смерть? Война — или революция, то есть опять-таки — война. Вот круг. Из него не выйдешь. Если смерть не заключена в самой сердцевине жизни, как твердое ядро, то какой же, в самом деле, вялый плод эта жизнь?!

Потом была атака. Я узнал, на что я способен, я сформировался. Атака окончательно вывела меня из отупения, в котором я находился все утро. Больше оно никогда не вернется. Я почувствовал свое призвание.

И моя активность сделала новый скачок, перешла в другую плоскость.

Эй вы, люди, взгляните на меня! Внимание... Не дрог-

[1] Патологическая потребность испытывать боль — по имени страдавшего этой болезнью австрийского писателя Захер-Мазоха. (*Прим. ред.*)

нул ли я в эту минуту? Если я дрогнул раз, то ведь это будет повторяться.

Нет, я не дрогнул. Но проделав свой стаж рядового, занимаясь целое утро стрельбой рядом со «штафирками», я почувствовал желание быть полковником. И я был полковником в течение получаса. Но вот я попал в яму. И теперь капитан Этьен может командовать мной? Нет, на это я не согласен.

В следующий раз, будет ли это война или революция, я буду или полковником или дезертиром.

Да, я буду дезертиром, я буду за шлагбаумом, если вы не можете произвести меня в полковники. Второй раз оказаться жертвой дурацкой мобилизации я не желаю. Я не хочу, чтобы капитан Этьен командовал мной уже после того, как я проделал свой стаж рядового.

В этой последней войне я не был признан. Но я защищался от результатов этого непризнавания.

Я соглашался быть убитым. Но по-скотски ожидать, пока меня убьют, я не желал. Я устраивался, как умел. Я отправлялся на фронт, когда меня тянуло, но храбрость проявлял я лишь тогда, когда мне этого хотелось. Я становился на время капитаном или полковником,—когда мне случалось заменить кого-нибудь или сделать что-нибудь необычное. В остальное время я увиливал, уклонялся, лодырничал.

Впрочем, даже если бы я и был полковником, я не отказал бы себе в том, чтобы при случае дезертировать.

Ну, а миллионы людей, людей действия, которые останутся, их я оставлю вам!

Соберите их, как нынче, и еще других. А я отберу из них несколько десятков и силой брошу их на подвиг.

«Миллионы, которые останутся, их оставлю я вам»,— сказал я.

Однако анализ событий этим не исчерпывается. Всю эту систему моих рассуждений, вращающихся вокруг вопроса об иерархии, охватывала другая, более обширная система. Когда я хотел покончить с собой, когда впоследствии мне захотелось уйти с поля битвы, во мне говорило мое естество, которое защищало самое себя. Это был человек, который бросил ружье, с ужасом швырнул прочь

этот страшный механизм; человек, который восстал против тяжелых орудий и жестоких пулеметов.

Война больше не война. Вы убедитесь в этом, фашисты всех стран! Вы убедитесь в этом в тот день, когда будете валяться брюхом на земле в собственных нечистотах. Тогда не будет больше ни плюмажей, ни позументов, ни шпор, ни лошадей, ни трубачей, ни громких слов. Будет один только газ промышленного производства, и он будет разъедать вам легкие.

Современная война — это проклятое восстание материи, порабощенной человеком.

Как можно защищаться от землетрясения? Только бегством!

По-настоящему, до глубины почувствовал я это под Верденом. Об этом я расскажу в другой раз.

Не будем смешивать разные вопросы. Здесь две разных области: вопрос о человеке на современном поле битвы и вопрос о главнокомандующем.

Я выехал из Шарлеруа, как главнокомандующий, оказавшийся не у дел, а не как простой рядовой.

Я не мог чувствовать себя заурядным человеком, ибо, вместе с людьми, я — Человек. Вот почему я все снова возвращался на фронт. Я повторял и углублял свой стаж нижнего чина в рядах, на линии огня. Я больше уже не желал быть офицером. Я согласен быть полковником или солдатом, но ни в коем случае не лейтенантом запаса.

Впрочем, это был всего только каприз гордости. Как можно укрываться в канцелярии, если в бою есть шансы навсегда завоевать себе власть? Ради этого стоит рисковать и тем, что будешь убит в яме в двадцать лет, еще не знав женщин, еще ничего не сделав, ничего не высказав.

Однако вернемся к этому дню. 24 августа 1914 года я впервые вышел из подчинения. Долг предстал передо мной в уродливом и унизительном виде,— в виде усатого капитана, наряженного в красные штаны. Чтобы совершить что-нибудь, надо раньше всего суметь убить в себе чувство хорошего вкуса. Я был молодой буржуа и еще не знал этого.

Внезапно вся битва и все мои переживания сомкнулись вокруг капитана Этьена.

— Господин капитан,— сказал я,— мы будем окружены!

— Молчите,— ответил он, испуганно глядя на двух-трех человек, которые могли меня слышать.

Но услышал только один, да и тот глядел на меня глазами сообщника.

Капитан посмотрел на меня с недоверием и ненавистью. Вероятно, в этот день у меня на лице было с угрожающей ясностью написано все то необычное и недозволенное, что я чувствовал.

Думать, мыслить посреди поля битвы?! Да видано ли это? Ну что ж, ведь мобилизовали интеллигентов. Трудные люди оказались в рядах. В том, что касалось самой битвы, мы с капитаном хорошо поняли друг друга.

«Он хочет дать драла!»— подумал обо мне капитан.

«Он хочет попасть в плен!» — сказал я себе о нем.

Мы все от природы плохо относимся к окружающим. Оба мы с капитаном дурно истолковали то, что могло быть выражено словами:

«Он хочет маневрировать», «он хочет сопротивляться»,

Мы посмотрели друг другу в глаза. У него были большие полицейские усы. В этот момент он, вероятно, очень хотел бы быть полицейским на площади Оперы в Париже. Я казался ему опасным интеллигентом, с глазами сумасшедшего.

— Они продвигаются в лес. Слышите? Это они стреляют! Нас захватят здесь, в этой яме.

— Нет, они будут отброшены.

— Кто же это их отбросит?— спросил я враждебно, с иронией пораженца во взгляде.

— Да там, сзади, увидят!

Я взглянул назад. Что там было сзади? Ничего не видно было. Майор? Полковник? Генералы? Куда они девались? Начинался тот период войны, когда все прятались по-трое в одной щелке.

— Ладно. Не ваше дело. Стреляйте!..

«Он, пожалуй, прав,— думал я, возвращаясь. — Если каждый солдат начнет рассуждать...»

Но спустя минуту внутри меня рычало:

«Я, это — я! И я не хочу попадать в плен!»

Я отправился в самый конец нашей случайной тран-

шеи,— в сторону леса. Там торчало двое-трое раненых. Они палили прямо в небо, в глупой надежде, что попадут в немцев.

— Что, немцы наступают? — крикнул я.

— И как еще наступают.

— Они стреляют уже с фланга. Я их видел.

— Тьфу, чорт! Я так и знал! Мы попались!

— Да, мы попались! Мне-то наплевать, я ранен,— сказал солдат.

Но я-то ведь ранен не был?!

Однако у меня еще было чувство солидарности по отношению к моим случайным товарищам. Я вернулся к капитану. Он с ружьем в руке стоял среди небольшой кучки солдат и блуждающими глазами смотрел на агонизировавшего Жакоба.

— Пули уже перелетают через парапет. Еще пять минут,— и они будут стрелять нам в спину. Надо уходить!

Я сказал это ему прямо в лицо и очень резко. Он вскинул ружье, точно хотел стрелять в меня. Но возразить было нечего. Я говорил совершенно очевидную правду, и мой взгляд пронизывал его насквозь.

В одну минуту он перестал быть капитаном. Капитаном стал я, это было совершенно очевидно. Как всякий, у кого ушла почва из-под ног, он говорил наивные вещи.

— Я не получил приказа об отступлении.

— Как бы вы хотели получить этот приказ? Но ведь инициатива...

Меня стал душить смех. Я представил себе, как выглядела бы эта сцена во дворе казармы. Я расхохотался.

— Ладно, молчать! — сказал он голосом, в котором смешались и бешенство и мольба, и отвернулся.

— Надо уходить,— повторил я.— Я не хочу попасть в плен в самом начале войны.

Ирония и бешенство трясли меня и обрушивались на него.

— Молчать! Стреляйте!

— Это верно, что мы попадем в плен,— сказал один из солдат, глядя на меня с доверием и симпатией.

— Тебе хочется в плен?

— Нет.

У него был тот же порыв, что и у меня. Кто он? Трус? Храбрец?

Он был один из тех, кто хорошо шел за мной в атаку.

Усатого капитана мучали стыд и ненависть. Этот здоровенный трус хотел выполнить долг, то есть не двигаться с места. Недаром я всегда ненавидел моих офицеров и моих учителей. По какому праву такая ограниченная посредственность может отдавать мне приказания, может кичиться какой-то смехотворной иерархией?

Он прекрасно понимает, что приказывать могу я ему и приказываю. Мне вспоминается один ограниченный профессор, имевший надо мной только превосходство возраста и взявшийся преподавать мне Платона. Он ненавидел меня и проявлял это, а я должен был слушаться. Так обозленный мелкий чиновник подолгу задерживает вас у своего окошечка.

Можно еще мириться с посредственностью вообще, поскольку она — явление массовое. Но в деталях, при каждом конкретном унижении, трудно сдержать гнев. А гнев — плохой советчик.

Отсюда один лишь шаг до желания стать генералом, министром, диктатором, произвести революцию, чтобы всех их держать под своим сапогом.

Я предостерегал себя от подобных желаний.

Да, этот капитан меня удержать не мог.

Я внезапно выскочил из ямы и пустился бегом к лесу.

Новая атака, моя личная! Полный гордости, бежал я среди свиста пуль.

Внезапный удар в затылок. Ах, умираю...

## V

Вечером, вооружившись электрическими фонариками и факелами, мы опять пошли на кладбище. Это был задумчивый парк. Среди дерева, под покровом ровной и мягкой травы, оно дышало глубокой и живой грустью. О, маленькая Валгала, где царит молчаливая чистота мужества.

Мы пришли на поиски химеры,— некоей личности, регистрационного номера.

При свете факелов мы, христиане и евреи, шли на поис-

ки талисмана, к которому прикреплена жизнь европейца — на почти безнадежные поиски собственного имени. Мадам Пражен разыскивала имя Пражен.

Эта мадам Пражен, урожденная Мюллер, разыскивала имя Пражен, как некую принадлежащую ей драгоценность. Она хотела использовать свое право написать здесь имя Пражен, отметить это место тем именем, которым была отмечена она сама.

Именно это, а вовсе не ее сын был предметом ее поисков.

Кроме факелов, у нас были лопаты и клещи. У нас были деньги и власть. Мадам Пражен имела орден Почетного легиона. Она хотела получить такой же орден и для сына, но он погиб слишком рано.

И вот мы в темноте, среди сырости ночи и сырости земли, принялись впотьмах расталкивать толпу, обыскивать ее, требовать у нее документов.

Эта толпа лежала ниже обычного уровня. Она смешалась в благородстве смерти и в химических тонкостях могилы. Мы обрушились на эту толпу с облавой, мы собирались тащить ее в полицию. Двум или трем трупам мы оказали честь, признав в них Клода Пражен. Мы были мелочны и глупы, как тупоголовые спириты.

Конечно, истинная страсть может сделать священной любую минуту, приобщить ее к вечности.

Но мадам Пражен, которая всюду носилась со своими эфемерными, надуманными заботами, не знала страсти. Грудь мадам Пражен была лишена тепла.

— Может быть, это — немец, а может, и француз,— глухо сказал кто-то, когда открывали первый гроб. Как бы желая отвести эту смехотворную угрозу, мадам Пражен прикоснулась пальцами к своему ордену.

Последняя доска была поднята. Бесформенные останки были слишком велики. Мы все единогласно отказали им в имени Клода Пражен.

— Он громаден, как немец,— опять воскликнул дурак, который взял на себя роль хора в античном театре.

Я вспомнил мясника Матиго, первого убитого, которого я увидел распластанным на земле. Как он был громаден, и какое удивленное выражение сохранило его лицо!

Поиски наши близились к концу. Золото мадам Пражен давно уже работало за нее в этих краях. Оставалось обследовать еще пять могил. Они имели кое-какие нужные приметы, но внушали также и сомнение.

— Если это не Клод,— могли бы мне сказать,— то это и не Матиго, потому что у него золотой браслет.

— Почему же? — возразил бы я.— Красавец Матиго мог быть педерастом или сутенером.

Подняли крышку другого гроба.

— Это он,— сказала мадам Пражен.

Сквозь тление сохранилась улыбка. Один передний резец был короче другого, как у Клода. Прекрасный повод для судебной ошибки. На него и набросилась святотатственная жалость.

— Не стоит смотреть остальные.

— Как вам будет угодно, мадам Пражен,— сказал мэр, довольный, что все так скоро кончилось.

Но тотчас, не желая, чтобы деньги были заплачены даром, она приказала открыть и остальные гробы. Но в них она так и не заглянула.

## VI

Мы ночевали у мэра. У него была прекрасная буржуазная дача, но землю свою он обрабатывал самолично.

Обряды потянулись без конца. Утром мы отправились в церковь. Из Шарлеруа приехала мадам Варрэн со своими знакомыми.

Наше шествие через деревню было значительным событием.

Я держал подмышкой сверток и шел рядом с мадам Пражен, все еще наряженной в форму сестры милосердия и украшенной орденом Почетного легиона и разными другими орденами.

Ее длинное худое лицо производило сенсацию. Глаза ее казались полны горя. А на самом деле у нее были такие же глаза, как у всех одиноких старых женщин. Это — глаза, сосредоточившиеся на какой-нибудь одной точке в пустоте.

Мы вошли в церковь. Мадам Пражен была католичка.

Нашим обществом руководит то, что называется сно-

бизмом. Есть снобизм католический и есть снобизм социалистический. Все от снобизма. Снобизм — это единственная форма поведения, доступная людям, которые живут воображением. И притом воображением, обращенным в прошлое. Снобизм всегда набрасывается на что-нибудь уже ушедшее. Люди у нас умеют интересоваться только чем-нибудь минувшим. Стоит чему-нибудь отойти в прошлое, как оно становится интересным. Как только возникает какой-нибудь памятник прошлого, вокруг него сразу же организуется свой снобизм. Мадам Пражен, приняв католичество, вообразила, что принадлежит к древнему роду, который живет во Франции пятнадцать столетий.

Ей казалось, что так эффектнее. Таковы забавы воображения.

В церкви была толчея. Здесь были и крестьяне и буржуа. Все толкали друг друга, чтобы увидеть благородную даму, приехавшую из Парижа.

Я тоже до некоторой степени привлекал всеобщее любопытство. За кого меня принимали? Люди редко принимают нас за тех, кем мы являемся на самом деле. Быть может, меня принимали за ее любовника.

Так или иначе, я был в некотором роде одной из принадлежностей ее роскоши, одним из лучей ее славы.

Кюре был похож на мэра, у него не было лишь усов. Да и по должности они были братья-близнецы. Так и живет мир: в каждой деревне, в каждом становище есть колдун и есть начальник. Они ненавидят друг друга, но они сообщники. И добрым людям они нужны оба.

Мэр был крестьянин и кюре был крестьянин. Оба не были девственниками, но не были и бабниками. Кюре был развратником не в большей степени, чем мэр,— надо это признать. Оба были важны, довольны и имели озабоченный вид. Мелкие амбиции мучили их, как насекомые, и иной раз долетали даже до границ всего кантона, хотя главным образом сосредоточивались здесь, в родной деревне.

Мы выслушали мессу. С пятнадцатилетнего возраста не бывал я в церкви. За это время я успел несколько изучить историю церковных обрядов. Когда я вижу, как кто-нибудь из этих колдунов в великолепном азиатском обла-

чении совершает евхаристию, принося бога в жертву богу, я ликую. Мир нелеп, но жесты его прекрасны.

Но и кроме молитв есть великолепная минута в богослужении, это — сбор пожертвований. Прихожане жертвовали только пуговицы от штанов, они рассчитывали на щедрость мадам Пражен. Она потрясала над кружкой тысячефранковым билетом. Я очень хотел бы иметь такой билет, чтобы кутнуть в Брюсселе. Деньги нужны мне так же, как и кюре, ибо я тоже интеллигент и тоже живу за счет богатых.

Когда месса кончилась, мадам Пражен заторопилась к дверям, чтобы выйти из церкви первой, оказаться впереди прихожан и приезжих, явившихся из Шарлеруа.

Я следовал за ней со своим свертком. Быстро распоров его ногтем, она извлекла из него карточку и стала раздавать выходившим из церкви.

Операция была подготовлена, и викарий,— тоже крестьянин,— сам направлял детей к мадам Пражен, заботясь о том, чтобы каждый получил картинку.

На картинке был изображен Клод Пражен, против чего он не мог возразить. Тут же следовало перечисление его званий бакалавра и кандидата естественных наук, описание его легендарных подвигов и объявление в приказе по армии, буквально вырванное госпожой Пражен у Босье.

Маленькие белокурые и черноволосые бельгийцы принимали картинки с невозмутимым и почтительным видом.

Быть может, там и до сих пор говорят о Клоде Пражен, хотя сама жертвовательница уже забыта.

Впоследствии мне припомнился этот день. Хоронили одного крупного ученого. И вот его вдова уже на кладбище вступила в пышную роль ученой вдовы. Женщины почти всегда разыгрывают роль: они — карикатуры на своих мужей.

Сопровождаемые народом, мы снова пересекли деревню. Я посмотрел на мадам Пражен,— она, казалось, постарела, она была подавлена чем-то. Но чем? Я был поражен, как плохо я знаю ее.

В конце концов, что я ставлю ей в вину? Ведь нужно же, чтобы человечество выполняло обряды. Нужно, чтобы оно отличало разные моменты в жизни. Но ведь воз-

можности-то поневоле ограничены, и обряды повторяются, повторяются и жесты. Браки и погребения — это как войны или революции... Неужели из скромности, из целомудрия она должна была забыть Клода?

Идея бессмертия родилась в мире тех, кто не забывает. В памяти матерей и друзей умершие прекрасны и торжественны. Здесь их Елисейские поля.

Но есть разные манеры совершать обряды,— скажете вы. Ну, что ж, у мадам Пражен манера хорошая, наивная. Она не очень отличалась от этих крестьян, они понимали ее и одобряли. Она напускала на себя важность, но они и сами этого желали.

Раздача карточек и милостыни. Что другое придумала бы какая-нибудь дама в древней Греции или древней Иудее? Что другое будет делать в будущем жена знаменитости, если только она не сможет погрузиться в забвение, в молчание?

Но это было бы слишком изящно.

Мадам Пражен не могла приобщиться к славе своего сына. Формулу «гордиться кем-нибудь» надо понимать буквально. Могла ли она не гордиться своим сыном? Если бы не гордость, она забыла бы о нем.

Тем временем мы расселись и стали есть. Ели много. Буржуа и крестьяне сначала побаивались друг друга, но жратва и выпивка — враги социальных преград. Работая в животах, природа в конце концов сближает сердца.

Под конец встал мэр и вытер усы.

— Для меня честь приветствовать среди нас, от имени всех мне подведомственных и всех жителей нашей общины, парижскую даму, госпожу Пражен,— сказал он.— Это достойная женщина и мать отважного солдата. От имени всех жителей общины мы благодарим ее за то добро, которое она делает понемногу всему нашему населению. Мадам Пражен хорошо использует свои деньги и подает гражданам добрый пример. Мы не забыли славных французских солдат, которые пришли к нам защищать честь Бельгии. Сын мадам Пражен положил здесь свой живот. Он не один. Нам было очень грустно смотреть, как они, храбрые бойцы, отступали и оставили нас в руках неприятеля на целых четыре года. Но... каждый делает, что мо-

жет. Когда они вернулись,— я говорю про англичан,— мы были очень довольны. Мы заботились о больных и раненых. Мы благодарим мадам Пражен за доверие, за то, что она пожелала, чтобы ее сын покоился на бельгийской земле, где он пролил кровь. Бельгия и Франция — это два пальца на одной руке. И они всегда будут за всеобщий мир. Всегда будут защищать справедливость. У вас, мадам Пражен, в нашей общине только одни друзья, и это — ваша семья, где вам всегда будут рады. И мы благодарим вас от имени всей общины.

## VII

Когда я пустился поперек поля, никто не последовал за мной. Они все остались в яме. Лишь поздней кое-кто, в том числе и сам капитан, выбрался оттуда. Впоследствии я встретил капитана в запасном депо. Мы поздоровались очень натянуто. Возможно, что я вылез из ямы слишком рано. Если бы я не вылез, никто из них не решился бы сделать это. Я несся напропалую среди пуль, которые свистели и кружились вокруг меня. И вдруг,— бац,— я убит. Да, я убит. Я получил страшный удар в затылок. Я убит. Я умер.

Тут-то и наступила эта метафизическая минута. Оказывается, я не был убит. Ноги мои продолжали двигаться и несли меня к лесу. Я повел рукой и потрогал затылок. Рука моя оказалась полна теплой крови. Текла моя кровь. Я вспоминаю, как я был горд:

— Я — мужчина! Вот течет моя кровь!

Я не отрекаюсь от этой гордости, не отрекаюсь от этого опьянения мужеством. Пусть завтра снова прольется моя кровь. Но пусть это произойдет во время занятия спортом. Ибо война для блага человечества исключена навеки. Война — один из гнуснейших ликов нашей современной культуры.

Кровь моя текла, но ноги передвигались. Пошатываясь, я добрался до леса. Я думал, что в лесу я буду в безопасности. Мысль оказалась достойной страуса, ибо осколки стали сопровождались здесь тысячами осколков дерева; каждый разрыв снаряда усиливался здесь в тысячу раз.

Думал ли я тогда о Франции?

Я извлек пакет с индивидуальной перевязкой, который нам приказано было держать в кармане, под рукой. Разве мы все не были кандидатами в инвалиды? Я ткнул пальцем в рану на затылке,— рана была неглубокая. Вероятно, шрапнель,— не знаю. Я, впрочем, так никогда и не узнал этого. Все в современной войне не имеет имени, как и в современной жизни.

Кровь стекала мне на плечи, на спину. Она была горяча и молода,— мне было двадцать один год. Я был ранен. Тотчас же гордость моя сменилась цинизмом: я ранен, значит отныне я выбываю из игры. Я ухожу в прошлое, я делаюсь бывшим участником войны. Я — вне армии, вне войны, я — почти штатский. Но я получил посвящение. Теперь мне дозволено все: и гордость и подлость. Я могу все отвергать, от всего отрекаться. Я перехожу в одну категорию с женщинами, детьми, стариками, инвалидами, в одну категорию с правителями. Подобно им, я имею право на все виды цинизма.

Ружье я бросил. Я поверил в свою звезду и, естественно, больше не рассчитывал встретиться с неприятелем. Я бросил ранец. В ранце лежала единственная книга, которую я взял с собой,— Заратустра. Плевать я хотел на Заратустру. Я сбросил с себя все снаряжение, подсумки, штык. Я был безоружен. Я задыхался, мне было жарко. Я расстегнул шинель.

Моя кровь была на мне. Я мог уйти. Кровь была моей защитой, моим оправданием, моим подложным документом. Я был безоружен, как штатский, как подданный нейтральной страны. Но в это время я подумал о Франции.

Франция была побита. Я терпеть не могу побежденных. Я отвернулся от Франции.

Я преклонялся перед немцами, которые настигали меня с тыла. Это — поражение, это — разгром. Задача в том, чтобы уйти. Раньше всего надо было добраться до такого места, где мне сделают перевязку и окажут помощь. Не истеку ли я кровью? Не упаду ли без чувств? Надо собрать весь остаток своих сил. Раз я не убит, надо жить. Сейчас мой долг — спасать свою шкуру.

Я чувствовал себя, как актер, который вышел за кулисы

и отдыхает. Я был один, совершенно один. Я взволнованно вспоминал все примеры гордого одиночества — от Фабриция до Ватерлоо. Снаряды так и сыпались на этот пустынный лес. Я наслаждался моим одиночеством. Оно давало мне покой, заполненный одной только моей мыслью.

Я добрался до открытой площадки.

— Наконец-то! — сказал я.

Каждая перемена в характере местности казалась мне залогом безопасности и освобождения. Мне показалось, что площадка, открывшаяся передо мной, лежит вне обстрела. Я заметил людей. Не зная, что делается на нашем левом фланге по ту сторону леса, я решил, что это немцы. Но я не испугался. Я почему-то был уверен, что в плен я не попаду. Я чувствовал, что во мне живет какая-то юношеская хитрость.

Это оказались французы, отряд саперов. Они шли в том же направлении, что и я. Они тоже старались уйти подальше от неприятеля.

Они смотрели на меня с удивлением, испугом и безразличием. Я приписал все эти чувства тому, что они — саперы, не участвующие в боях, не находящиеся под огнем, и видят во мне бойца, пехотинца, парию.

— Где мой полк? — спросил я у них.

Что это—инстинкт солдата, боящегося отбиться от своей части? Или рефлекс дезертира, который хочет сориентироваться?

— Не знаем... там...

Мне показывали вправо. Но сами-то они забирали влево. Мне пришла фантазия (я уже не называю это инстинктом) пойти прямо.

Передо мной лежала равнина. Вся она была полна грохота немецкой артиллерии. Она не была совершенно плоска; небольшая складка скрывала ее глубину, и я не знал, есть ли здесь кто-нибудь, но вскоре я заметил войска. Они шли в ту же сторону, что и я, они тоже показывали неприятелю спину. И вдруг, совершенно неожиданно, точно свалившись с незаметного возвышения, я наткнулся на свою роту. Она перестроилась и как по волшебству оказалась на новом месте. Значит, это еще не разгром. Я присоединился к своим и тотчас же обратил мое бегство в

подвиг. Я показывал всем лохмотья моей одежды, залитые кровью.

Сержант Гюжан вырос передо мной. Он сделал брезгливый жест. Это был остаток его закоренелого недоверия.

— Закройте! Закройте!

Солдаты смотрели на меня. Я был весь измазан кровью.

Наша рота двинулась.

В течение некоторого времени мы шагали по равнине. Попадались здесь и еще отряды, пачки людей. Они тоже шагали, точно по приказу. Быть может, и правда был приказ. Я попал в ловушку.

Но и для окружающих война была окончена, как и для меня самого. Мы были разбиты. Повторился 1870 год. Одетая в красные штаны французская армия отступала с нами. Отступала и группа всадников: генерал со своим штабом. Проклятие тяготеет над начальниками, оторванными от армии и от боя.

Мы подходили к какой-то деревне. Моя часть остановилась, а я пошел дальше. Я вошел в деревню под тем предлогом, что искал врача. Здесь-то я и увидел полковника.

Он стоял в одиночестве посреди деревенской площади. За углом стоял знаменосец. Полковник оказался человеком неглупым и любезным. Он был храбр, но ему чего-то не хватало: не то грубости, не то гениальности. Он был в достаточной степени интриганом, чтобы предвидеть результаты интриги, и достаточно наивным, чтобы впадать от этого в пессимизм...

Мы встретились глазами. Он знал меня. В Париже он однажды вызвал меня к себе в канцелярию и советовал не просить о переводе в алжирские стрелки, так как это — отчаянные головы.

Мы встретились глазами. Он вздрогнул: моя кровь навела на него ужас. Моя рана — это настоящее сокровище. Мы с полковником обменялись взглядом. Мы оба были пессимистами. Горькую чашу пережитого поражения мы пили медленными глотками.

Полк, понемногу прибывавший в деревню, перестроился.

Я встретил моего товарища Бенсимона из Алжира.

— Клод убит,— сказал он.

Для меня это было поводом поплакать над собственной бедой.

— Бедный Клод, бедный малый,— повторял я.

Бенсимон хорошо переносил события. Он собрал всю свою старую привычку к несчастиям и оттородился этим от тех метафизических и политических выводов, которые возникали в связи с нашим поражением. Бенсимон старался насколько мог преуменьшить значение событий для того, чтобы они были ему по плечу и чтобы можно было их перенести.

Он смотрел, как рыдания без слез искажали мою маску окровавленного актера. Он считал, что я ранен очень серьезно.

Пришел приказ по полку. Мы действительно отступаем.

Я шел безоружный, в распахнутой шинели, с перевязкой, запекшейся вокруг головы. Я перевалился с ноги на ногу среди товарищей, сгибавшихся под тяжестью снаряжения.

В конце-то концов рана моя была вовсе не так серьезна. Я мог бы и не эвакуироваться. Бенсимон дал мне водки, и я немного подкрепился, хотя все еще чувствовал себя совершенно слабым.

Голова снова стала работать. Я стал понимать, насколько опасно подчиниться выпавшей на мою долю судьбе. Я влопался, попав в отступление. Отступление, поражение — все это совсем не забавно. Надо шагать, вот и все. Я знал историю и предвидел, что Марна закончится отступлением. Отступление — это значит, что ты шагаешь и тебя бьют, а боев нет. Только и дела, что шагать. Некогда спать, некогда есть, некогда пить. Тащишь ружье и ранец до того места, где можно будет их сдать победителю. И весь свет плевать хочет на тебя. И боги, и люди способны только обращать внимание на победителя.

Он, этот победитель, надвигается сзади. Мы будем итти впереди него до самого Парижа. А потом мы будем собраны в стада и заключены в лагери.

Нет, это не для меня.

Я протестовал не из страха перед страданиями, а от ужаса перед положением побежденного.

Внезапно Франция и французы сделались в моих гла-

зах отвратительны. Я хотел отделиться от них. Я был возмущен ими.

Нет, право, быть французом — вовсе не забавно. С тех пор, как я родился в этой стране, я не знал ни одной хорошей минуты.

Я всегда слышал разговоры только о поражениях. Когда я был ребенком, мне всегда рассказывали о Седане и Фашоде, либо о Ватерлоо и Россбахе [1]. Сколько унижений!

Германию я видел лишь проездом. Меня привели в восхищение люди этой страны и их умение трудиться.

В сущности, я ждал поражения. Но когда я увидел его на деле, меня охватило страшное бешенство.

Пусть меня убьют на дороге, когда мы будем прикрывать отступление,— вот о чем я мечтал, когда уходил на войну. Сейчас такая роль казалась мне слишком глупой, слишком незаслуженной для юноши в расцвете сил, который еще ничего не получил от жизни. Не моя вина, что вокруг меня дураки. Мне жизнь дана не для того, чтобы я ее загубил. Я зависел от отечества не больше, чем от собственного отца. Этот хвастун должен был в свое время первым вступить в Страсбург. Он этого не сделал и сейчас сидит у себя в кресле и ждет результатов от нас. Земля одинаково мало заинтересована в моей смерти и моей жизни. Выбор принадлежит мне.

Меня охватило страстное желание спастись. Мне хотелось отделаться от этого стада, спокойно шагавшего по дороге разгрома. Я чувствовал, что во мне пробуждаются силы и гордость. На душе у меня было неспокойно уже с той минуты, как я догнал свою роту. А теперь, помышляя бросить ее, я успел реабилитировать себя в своих собственных глазах.

Чувство долга не позволяло мне связывать мою судьбу с этой слишком уж глупой авантюрой, заранее обреченной на гибель. В эти минуты я был зол не на войну, а на Францию.

---

1 Фашода — местность в Судане, которую французы захватили в 1898 г., но затем вынуждены были отдать англичанам. Ватерлоо — бельгийская деревня, где был разбит Наполеон 18 июня 1815 г. Россбах — саксонская деревня, при которой французы были разбиты пруссаками в 1757 г. О Седане см. выше. (*Прим. ред.*)

— Надо дать ходу в Голландию,— внезапно произнес я громким голосом.

Я повторил это еще раз, обращаясь к Бенсимону. Это его смутило.

— Ты понимаешь, это повторяется 70-й год. Мы разбиты. Нас гонят. Нас всех заберут. Это глупо. Все эти типы — паршивцы, трусы. Надо бросить их. Я решил уйти в Голландию.

О Голландии я вспомнил лишь потому, что когда-то читал роман Маргерита. Герой этого романа после разгрома французской армии под Седаном удирает в Бельгию. Но так как я уже находился в Бельгии, мне оставалось удирать в Голландию.

— Молчи,— сказал Бенсимон,— ты сошел с ума. Это у тебя от раны в голову. Все наладится.

— Что наладится? Моя рана или война? Я тебе говорю, что с войной все кончено! Французы — проклятый народ. У Франции нет гордости.

— Молчи! У тебя льет кровь! Тебе вредно много разговаривать.

«Он прав,— подумал я,— этак я скоро останусь без сил и свалюсь. Тогда меня заберут в плен».

При этой мысли меня снова охватил ужас.

«Надо немедленно решить, что делать».

Мы взобрались на какой-то бугорок. Рядом с распятием артиллерийский полковник прямо и неподвижно сидел на лошади. С ним был трубач. Полковник с тревогой оглядел нас.

Я вышел из рядов и встал перед ним. Я смотрел на него. Он все понимал и видел, что я тоже все понимаю. Он отвернулся от меня, как это делали все.

— Господин полковник, где здесь перевязочный пункт? — выпалил я, обращаясь к нему прямо в упор.

Бенсимон подал мне хорошую мысль, заявив, что я сошел с ума. Я смотрел на полковника сумасшедшими глазами.

Полковник оказался молодцом.

Он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Ступайте!

Я успел уже отстать от своей роты. Я молодцевато за-

шагал по дороге, которая шла позади полковника. Полковник на мгновение оглянулся, точно догадался о моих намерениях. Я олицетворял для него отступление. Оно захлестывало его.

Мне пришло в голову, что именно на этой дороге я найду освобождение. Я не ошибся. Впрочем, способы освободиться бывают разные.

Меня никто не окликал, никто не останавливал меня. Ни Бенсимона, ни полка я больше так и не видел.

Я ушел за кулисы. Эти кулисы оказались боковой дорогой, пустынным переулком вдали от театра военных действий.

Я шагал, повинуясь очень простому рассуждению: «Время от времени,— рассуждал я,— между полями попадаются селения. Значит, если я буду итти полем, я добреду до какого-нибудь города или деревни».

Что же будет дальше? Город, это — такое место, на которое не так уж сильно обрушивается война, это — место, где люди укрываются от войны, место, где можно лечиться. В поле хуже. В поле люди выходят, чтобы воевать.

Я держался узкой дорожки, пролегавшей через холмистое поле. Грохот артиллерии стал несколько слабее. Громы небесные стали смягчаться. Солнце тоже смягчалось.

Было часов около пяти, наступал вечер. Мой рабочий день кончился, я возвращался в город.

Внезапно я вспомнил, что я ранен: у меня кружилась голова. Тьфу, чорт! Я ведь тут один-одинешенек. Я ощупал голову: перевязка набрякла. Голова — штука крепкая, но ведь у меня она проломлена.

Добреду ли я наконец до какой-нибудь деревни? Добреду! Силы у меня еще есть. Я хотел есть и пить, но мысли об этом не приходили мне в голову. В свои двадцать лет я еще не привык думать о своем пропитании.

— Что немцы? Догоняют они или остановились на отдых?

Я остановился по нужде,— в первый раз за весь день,— потом я пошел дальше. Я шел вперед. Бесконечный спор, выросший из переживаний этого дня, не прерывался в моем сознании. Но я уже почти не прислушивался к нему. Это был спор между разными видами муже-

ства. Один из них звал уйти, другой приказывал остаться на месте. Это был спор между политикой и жизнью: франко-германская распря крепко захватила мою судьбу. Я предчувствовал, что гроза будет продолжаться долго. Это был спор между жизнью и смертью: что лучше — умереть в двадцать лет или в пятьдесят? Целый ряд тем выступал и отступал в этом споре. Моя кровь тащила весь этот груз.

Затерянное поле, чистенькая долина. Вот дерево, которое уцелело с корой и листьями. Что за трогательная загадка!

Я уеду в Америку, я сделаюсь американским гражданином.

Нынешней России в то время не было.

Мне приходили в голову лишь старые колониальные мечты: начинать все сначала, вычеркнуть все прошлое. Года за три до того один американец сказал мне:

— Бросьте вы эту старую Европу! Едемте со мной. Я вас устрою в своем предприятии. Пора забыть эту дряхлую Европу, в ней нет ничего, кроме кайзера и Почетного легиона.

Я находился у подножья холма. Когда я взобрался на него, я чувствовал себя пьяным, я пробирался от ямы к яме. Впереди показался город. Вокзал, а на вокзале дымит поезд. Что это, мираж? Нет, это поезд, на котором можно уехать в Голландию.

Спускаясь с холма, я увидел вокруг поезда много людей в красных штанах.

Я обрадовался. Мое переутомленное сознание испытывало потребность в людях.

Выйдя на площадь перед вокзалом, я увидел раненых и сестер милосердия. Я подошел поближе. Одна из сестер окликнула меня.

— Скорей, поезд уходит!

Я понимал, что этого не следует делать, но все же я подошел, и я, гордец, стал молить о помощи.

— Бедный мальчик...

Это была городская дама, очень приветливая.

— Идите скорей, я вам сделаю перевязку, пока поезд не ушел,

Она осторожно сняла с моей головы ни на что не похожий пластырь, который я сам себе налепил.

— Чем это вас так? Снарядом?

— Не знаю.

— Ах-а-ха-ха!..— завздыхала та, взглянув.

Я был в восторге: значит, я здорово ранен.

— Вам больно? Как у вас только хватило сил добраться сюда?

— Не знаю. Я ни за что не хочу попасть в плен.

— Молодец! Ну, теперь — крепитесь, будет больно.

Неопытной, боязливой рукой она стала смазывать мне рану иодом.

Было здорово больно. Когда поезд засвистел, я вскочил с места.

— Не бойтесь!

— Куда идет этот поезд?

— Во Францию.

— Мы разбиты?

— Их оказалось слишком много! Ну, готово! Идите.

— Благодарю вас, сударыня.

Я церемонно отдал ей честь.

Внезапно неподалеку поднялся адский шум. Немецкая артиллерия начала обстрел вокзала. Это заставило поезд тронуться. Я уезжал. Я был уверен, что война кончилась.

## VIII

Вечером, после обеда, мадам Пражен пригласила меня к себе в комнату. Она успела уже снять костюм сестры милосердия, и ее внешность показалась мне более пристойной.

— Присядьте,— сказала она мне нежным голосом, ласково улыбаясь.

Я почувствовал угрызения совести.

— Вы были другом Клода, вы были добры к нему.

— О, мадам, вы находите?..

— Да, бедняжка! Я хотела бы что-нибудь сделать для вас.

— Но ведь вы уже и так...

— Нет, вы заслуживаете большего. Я прекрасно по-

нимаю, вы не для того созданы, чтобы служить секретарем...

— Это верно.

— Ну вот, я кое-что придумала...

Я почувствовал, что у меня заблестели глаза: я рассчитывал, что речь пойдет о деньгах.

— Клод был убит. Вас могла постичь та же судьба. Она вас миловала.

— Малого не хватило,— пробормотал я.

— Клод ведь погиб во имя чего-нибудь. Надо, чтобы вы продолжали драться за то же дело. Надо, чтобы вы стали депутатом.

Я почтительно смотрел на нее.

— Да,— продолжала она,— я дам вам денег на проведение избирательной кампании. Я даже подыскала для вас избирательный округ.

Мадам Пражен почти не смотрела на меня. Ей было безразлично, какое впечатление производят ее слова. Она была утомлена, стара, грустна и говорила искренне. Она детально растолковала мне свой проект. Я чувствовал себя, как во сне.

— Но ведь я не принадлежу к левым партиям.

— Вы принадлежите к правым? Это ничего не значит.

— Но я и к правым не принадлежу.

— Кто же вы?

— Я против стариков!

— Ну, вот и отлично!

— Да нет, мадам! Старики сидят и справа и слева.

Это было все, что в то время оставалось у меня из идей, принесенных с войны. Нас было много таких. Эта идея борьбы со стариками продержалась долго. Мы оказались биты и научены уму-разуму из-за стариков, а старики эти потихоньку да полегоньку продолжали лавировать между миром и войной.

— В конце концов не это важно. Важно, чтобы вы были избраны.

— Я хотел бы устроить революцию.

— Ну, вот именно! Позже вы ее и устроите!

— Позже будет поздно!

Было поздно уже и тогда. Три старца[1] уже успели по-своему организовать наш мир.

— Ну, это — ваше дело в конце концов.

— Благодарю вас, мадам, я подумаю.

— Как! Разве вы не отдаете себе отчета в том, что я вам предлагаю?

— Позвольте засвидетельствовать вам, мадам, свое уважение.

Я поклонился ей и вышел. Она осталась одна. Это было одиночество старухи, не имеющей родного очага.

Я пошел погулять по Шарлеруа. Я старался рассуждать здраво, но это было мне не легко. Я был молод, и опыт войны обошелся мне дорого.

Кстати, из-за чего собственно был убит Клод? Знаю ли я что-нибудь об этом? Он умер за Францию? Он-то, быть может, и вправду сражался за Францию: он, ведь, был еврей. Ну, а я? Моя гордость погибла в грозе, созданной наукой и индустрией. Больше я о гордости и думать не могу. Я дрался за то, чтобы жить с людьми. Я снова вернулся к людям, которых презирал в Шарлеруа. Потом я снова покинул их. Я искал равновесия между ними и мною. Между моей гордостью, которая нужна им, и их ничтожеством, которое служит мне базой.

Мне нужны были бы годы, чтобы постичь все это.

На другой день я сказал:

— Нет, мадам, я не хочу быть депутатом. Хотя... Видит бог, как бы я хотел заработать немного денег.

---

[1] Клемансо, Ллойд-Джорж и Вильсон. (*Прим. перев.*)

# ГЕРОЙСТВО ГРЮММЭ

## I

Наша дивизия около месяца стояла на отдыхе в Лотарингии, в лесу. Это была ударная дивизия. Она пользовалась привилегией отдыхать в отдалении от фронта, в наиболее удобных условиях. Ее вводили в действие только в больших делах, в весенних и осенних наступлениях.

Многие находили, что это лучше, чем медленно погибать в безвестных окопах, как стадо в загоне.

Солдаты знали, как дорого мы платим за свои привилегии. С какой-то грустной гордостью они в начале 1916 года показывали горниста, который был единственным уцелевшим из состава, пришедшего на фронт в начале войны. Это был жизнерадостный и бестолковый пьяница. Своими бесцветными глазами, казалось, не замечавшими подлинной жизни, он видел, как погибли все три тысячи его товарищей, с которыми он выехал на фронт. Пачками и поодиночке они погибли все до одного. Он видел, как их заменяли другими, но и те в свою очередь тоже лишь промелькнули и рассеялись по госпиталям и кладбищам. Пятнадцать тысяч живых человек успело пройти через три тысячи номеров списка нашего полка.

К февралю наш корпус уже полностью восстановил свои силы — налились свежей кровью роты, люди дышали здоровьем. Лесной воздух и здоровая пища помогли попол-

нить наши ряды необходимым количеством голов, туловищ и ног.

Каждый мог полюбоваться этим в тот день, когда наш полковник, раненный на Сомме, вернулся в полк и на площади Шарм устроил нам смотр при полной амуниции.

Командира у нас любили и уважали, потому что он сам любил и уважал солдат.

Этот небольшого роста тощий человек с горящими глазами молча появлялся в наших траншеях и на постое. Люди знали, что он полностью делит с ними невзгоды, и чувствовали, что, подобно им, он знает всю сложность человеческих раздумий. Командир относился безразлично к мелочам и строгость проявлял лишь в важных случаях.

Боли от раны у него еще не прошли. Они закалили его, но сделали более мягким его сердце. В офицерской среде он бывал молчалив и несколько высокомерен, но взгляд его делался ласков, когда где-нибудь в лесу он встречал беднягу из простонародья. Однако он никогда не улыбался, точно боясь расчувствоваться. Это был кадровый офицер, но и он не ожидал, что война окажется казармой, однообразно истекающей кровью.

В день своего возвращения, в сумерки, стоя на краю тротуара, ежась от холода, в старой шинели с потускневшими галунами полковник смотрел, как маршируют три батальона, подбодренные желанием понравиться начальству.

Они шагали, предшествуемые оркестром. Это жуткое орудие войны состояло из шести рядов барабанщиков и трубачей. Медь и ослиная шкура — столь же древнее оружие человека, как и меч,— выступали впереди солдат. Мрачный грохот и пронзительный свист, производимые усилиями музыкантов, казались звучащими из глубины веков. Вот она, эта старая, вечно пьяная похоть, которая прячется в глубине человеческого естества. Однако он — командир, человек меча — меча не имел. Его подчиненные держали на плечах усовершенствованные приборы, которые причиняют смерть на каком-то отвлеченном расстоянии, вне поля нашего зрения. В августе 1914 года пятьсот его солдат в красных штанах, подкошенные пулеметным ураганом, свалились на траву сплошной массой. С тех пор

его не переставал мучить контраст между острым, непосредственным, ощутимым призывом оркестра и бесчеловечной, холодной невидимкой-смертью, которая так быстро и оскорбительно откликалась на звуки музыки.

Малорослые и тщедушные люди казались воинственными благодаря снаряжению и каскам. Когда все они продефилировали, командир ушел в канцелярию подписывать бумаги.

Ежедневно нас поротно угоняли в лес. Никакого строевого учения не производилось. Это радовало всех. Ничего на свете солдат не ненавидит так, как учение и подготовку к параду — вечной ловушке для его человеческого достоинства. Солдат не видит дальше своего носа. Он фаталист. Поэтому он не любит также ни полевого учения, ни стрельбы, хотя это учит его защищаться от смерти.

Из всех нас сделали дровосеков. Мы рубили деревья и тесали колья для укрепления проволочных заграждений.

Рассыпавшись в роще, мы разрушали лесные богатства страны так же старательно, как разрушали и все прочее. Была какая-то сатанинская радость разрушения в нашей работе. Мы испытывали волнение от неожиданной близости с природой, с ее живыми соками после стольких месяцев, в течение которых мы задыхались в железных оковах войны.

Мы уходили в лес на рассвете. По пути все мы — и горожане, и люди деревни — пели. Мы громко и с подъемом исполняли наши солдатские песни. Голоса наши начинали звучать глухо, когда в смутном свете начинающегося утра мы рассыпались по лесу. Деревья казались колоннадой громадного забытого святилища.

Во время завтрака давали о себе знать разбуженные в нас силы. Мы успели наделать несколько простых скамей и столов. Мы устраивали великолепные пиршества из сардин, колбасы, жареного мяса, картошки, сыра и хлеба. Все это мы запивали бесконечным количеством вина, жидкого кофе и водки. Наши речи, речи мужчин, оторванных от женщин, полны были самого ребяческого похабства. И когда иной солдат, захлебываясь от невыносимой похабщины, подымал свою жестяную чарку, мне чудилось

служение простому, безвестному богу, какому-нибудь Дионису, выросшему на деревенском навозе или у фабричной трубы.

## II

Прислали последнее пополнение. Новый отряд пришел как раз в разгар очередной пирушки. Дивизионные эскадроны были тогда расформированы, и к нам попал кое-кто из драгун. Мы давно презирали их и завидовали им, потому что они всегда гарцовали попусту и вдали от окопов.

Все смолкли, чтобы лучше насладиться бедой, по заслугам постигшей этих аристократов. Среди них были и простые крестьяне, но просторные и длинные шинели и шпоры придавали им всем особый шик.

Одного из прибывших каждый из нас отметил особо. Этот-то уж безусловно дворянин,— по всему видно. Хотя он был всего лишь вахмистром, по-пехотному — унтер-офицер, но шинель на нем была из сукна не менее тонкого, чем у иных богатых офицеров, каких не часто и встретишь у нас в пехоте. Походка его была горделива и небрежна. Было видно, что ему глубоко противно наше простонародье. Его всюду сопровождали два драгуна, которые состояли при нем для услуг. Один из них почтительно взял из его рук изящную сумку, которую он снял с себя, садясь за стол унтер-офицеров.

Я сидел за этим столом и с удивлением смотрел на лица товарищей. У всех было одно и то же выражение неловкости и робости.

Наш фельдфебель, землемер из Вогез, старший за столом, хотел проявить гостеприимство, но сделать этого не сумел,— жест получился неловкий и повис в воздухе.

— Вахмистр Грюммэ,— сухо отрекомендовался новоприбывший, слегка щелкнув каблуками.

Кстати, это щелканье каблуками еще и поныне ценится в буржуазных салонах. Оно пришло к нам по путанным дорогам снобизма и скорей от немецкой аристократии, чем от английской.

— Ладно, садитесь!

Разговор возобновился не скоро. Шумное веселье, всегда царившее за нашим столом, в этот день так и не вернулось.

«Грюммэ! Вот как! Его фамилия Грюммэ! — подумал я.— Что он — братом или кузеном доводится Фредерику Грюммэ?»

Фамилия Грюммэ, распространенная в Швейцарии, в Эльзасе и в Бадене, имела немало представителей и в Париже. Род старый, многочисленный и богатый. Я знавал в Сорбонне одного Грюммэ. Он, впрочем, нисколько не был похож на этого. То был человек тонкий, увлекающийся музыкой и философией. Тот был брюнет, а этот белокур.

Продолжая приятельскую беседу с соседом, рабочим-электриком из Нанси, я с любопытством разглядывал этого разжалованного в пехотинцы кавалериста. Лицо у него тонкое, чистая кожа, ровные зубы, густые волосы, хорошее сложение. Но вид чрезвычайно недовольный. Он не старался скрыть это и не делал никаких усилий, чтобы приспособиться к новой среде. Соседи не заговаривали с ним,— не из неприязни, а из робости.

Когда кофе был выпит, все встали. Я обновил недавно полученную трубку. Проходя близко от меня, Грюммэ заметил английскую марку трубки и взглянул на меня с интересом. Я со своей стороны взглянул на него, не скрывая иронического любопытства. Грюммэ, осмотрев меня, пришел в недоумение: я был в казенном обмундировании, стрижен под машинку, а борода моя была запущена. После мимолетного колебания он удалился.

Раздался свисток, мы принялись за работу. Вскоре я увидел, что мой Грюммэ, заложив в карманы руки, затянутые в перчатки, без дела бродит среди работающих людей, дымя дорогими сигаретами.

Он твердо решил ничего не делать и с удивлением смотрел на одного сержанта, который, скинув шинель и куртку, усердно рубил ясень. Несколько раз мы встретились глазами и в конце концов подошли друг к другу.

— Что, не нравится вам в пехоте?

Он взглянул на меня. Его раздражало и шокировало, что он не знает, как меня зовут, и не знает, в какой мере

мое положение в гражданской жизни отличается от того незаметного поста, который я занимаю в армии.

— Совершенно не нравится.

Тревога скользнула в его голубых глазах, но губы были плотно сжаты. Видно было, что он уже принял какое-то решение, и я догадывался, какое именно.

— Ну что же,— вы, вероятно, не останетесь здесь.

Он взглянул на меня недовольно и высокомерно: в моем голосе слышался оттенок иронии.

— Ну, конечно, не останусь! — заявил он.

Я понял, что у него есть свои причины, чтобы утверждать это.

«У него, должно быть, серьезная протекция,— подумал я.— Всего вероятнее, он племянник того Грюммэ, который состоит председателем компании «Объединенная сталь».

Мы болтали о том, о сем. Он спросил, как меня зовут, но фамилия моя ничего ему не сказала. Его тон стал суше. Говорить с ним о Фредерике Грюммэ мне не хотелось, но в конце концов я заговорил. Меня интересовала судьба этого славного малого. Сколько раз он играл мне Баха по три часа сряду.

— Ах, вы его знаете? Это мой двоюродный брат. Он убит месяц тому назад в Шампани.

Я ничего не ответил, но стал смотреть на него менее недружелюбно, чем раньше.

— Где он служил? — спросил я.

— В авиации. Я тоже перевожусь в авиацию. Где вы познакомились с ним?

Он не казался расстроенным воспоминаниями об убитом.

Вечером я встретил его в деревне. Он старался получить комнату получше. Я застал его в тот момент, когда он давал отступные одному товарищу, квартира которого ему понравилась. Драгун, состоявший при нем чем-то вроде денщика, сопровождал его, неся прекрасный резиновый спальный мешок, подбитый мехом, и кучу других вещей.

Заметив мою улыбку, он сказал:

— Я надеюсь дать ходу отсюда раньше, чем снимется дивизия.

Проходивший в это время мимо нас лейтенант, командир нашей роты, позвал его. Офицер чувствовал себя с ним так же натянуто, как и унтера. Он отвел его в сторону и говорил тихо. На его лице одновременно отражалось и недовольное и почтительное выражение.

— Дело ясно. Судьбой господина Грюммэ занимаются в высших сферах.

## III

Прошло два-три дня. У Грюммэ все время уходило на посылку и получение телеграмм. Своим взводом он почти не занимался. За обедом он задерживался лишь на минуту, а все остальное время проводил у себя, запершись со своим драгуном. Тот вечно был занят чисткой сапог своего барина и тоже смотрел на пехотинцев свысока.

В один прекрасный день внезапно разнесся слух: «Дивизия снимается».

Никто не хотел верить, что нас угонят на фронт. Все считали, что мы понадобимся только весной — для решительного наступления.

Однако слух держался упорно и усиливался. Вскоре появилось распоряжение: «быть готовым к отправке».

Нас перестали посылать в лес.

Я встретил Грюммэ у дверей столовой. Вид у него был крайне озабоченный. В руке, затянутой в замшевую перчатку, он держал телеграмму.

— Дело плохо! — сказал я.

Он взглянул на меня и ничего не ответил,— его раздражала моя покорность судьбе.

Он поспешил в штаб полка узнать, нет ли чего для него.

— Ведь он подал прошение о переводе в авиацию,— сказал мне один из писарей.— Струсил паренек! Неохота ему итти с нами.

— Но ведь, быть может, нас еще перебросят на юг или в Салоники! — вставил кто-то.

Салоники, где люди массами гибли от дизентерии, были мечтой всего французского фронта.

За столом все сидели мрачные. Впервые за все время

люди открыто проявляли свою враждебность к Грюммэ. До сих пор во взглядах, обращенных на него, я замечал наряду с неприязнью и почтительность. Когда я нарочно раза два в отсутствие Грюммэ назвал его имя, все промолчали, точно боялись чего-то. В этот вечер Грюммэ вел себя вызывающе. Он смотрел на нас с таким презрением, точно мы уже были смердящими трупами.

Мы рассказывали друг другу военные истории, вспоминали случаи, происходившие во время последней атаки на Сомме. Заговорили об авиации.

— Не говори мне об этих молодчиках,— воскликнул фуражир, бросая быстрый взгляд на Грюммэ,— они предали нас. Эти господа, видишь ли, не любят пачкаться.

Из осторожности или потому, что он был поглощен ожиданием своего перевода и считал минуты, но Грюммэ не шелохнулся.

Два или три раза его задевали намеками. Стычка казалась неизбежной, но дело обошлось без осложнений. Тревога началась, когда повар принес кофе и водку. Час спустя мы были на шоссе. Нас направляли к довольно отдаленному вокзалу.

В поезд мы сели поздно ночью. Весь следующий день прошел в дороге, и только вечером мы высадились в районе Вердена.

Ночной переход к Вердену навсегда запечатлелся в моем мозгу. Мы шли по стране белых развалин. В пустыне то тут, то там возникали бесформенными призраками битые камни, освещенные неприязненным, злобным светом луны. Блики отражались на снегу. Эти развалины служили местом остановок на нашем крестном пути. Передвигаться по обледеневшей дороге было трудно, хотя наши башмаки и были подбиты гвоздями. Мы падали с ног, изнемогая под тяжестью выкладки.

Замученные холодом и одиночеством, мы безостановочно шли в течение шести часов. Нас, шагавших людей, здесь были тысячи. Но среди этих изрытых полей, скользких от гололедицы, в этих деревнях, покинутых, казалось, тысячу лет тому назад,— каждый из нас чувствовал себя одиноким, заблудившимся ребенком.

Грюммэ, начал разделять нашу судьбу и страдать более

жестоко, нежели мы. Я увидел его на первой же остановке. Согнувшийся, придавленный тяжестью ранца, он казался вдвое ниже ростом.

— У меня ужасно болят ноги,— сказал он мне жалобным голосом и выругался, как извозчик.

Он был в легких спортивных ботинках, без гвоздей.

— Я падал в пути не меньше десяти раз.

На следующей остановке он попросил у лейтенанта позволения сесть в телегу.

— Вы унтер-офицер,— ответил лейтенант,— вы должны служить примером для рядовых.

Грюммэ сухо отдал честь и слегка подтянулся.

На рассвете мы вошли в деревню, там еще оставались жители. Нам сказали, что здесь мы и останемся. Мы выпили кофе и водки и слегка пришли в себя от мучительного полусна, в котором проделали ночной переход.

Грюммэ исчез. Когда он явился снова, у него был расстроенный вид,— его точно подменили. У него сделались другие глаза. Человеку предстояло встретиться со смертью, и вот теперь ему оказались нужны товарищи, близкие люди. Он купил у какого-то крестьянина бутылку старой вишневой водки и угостил кое-кого из нас. Он и сам выпил как следует.

Вскорости один из самокатчиков рассказал нам, что в штаб Грюммэ запретили являться. Мы узнали, что под Верденом идет жаркий бой. Немцы перешли в атаку и прорвали нашу линию. Все надежды возлагались на наш корпус, на наш славный корпус, и еще на один, не менее боевой, стоявший рядом. Момент решительного столкновения наступал задолго до весны.

Все утро и часть дня мы слонялись без дела. Потом разобрали козлы. Тогда-то и произошел в высшей степени эффектный двойной инцидент. Внезапно вдоль всей ротной шеренги пробежал шопоток. К нам приближался капитан, носивший шифр нашего полка, но мне незнакомый. Рука у него была на перевязи.

— Это капитан Дюмон-Вервье!

— Дюмон-Вервье? Сын старого Дюмона Вервье?

В полку часто упоминали это имя и всегда с каким-то грустным уважением.

— Ну, брат, этот горяч.

Он был, действительно, горяч: услышав о готовящемся бое, он бежал из госпиталя.

Это был настоящий командир. Солдаты смотрели на него с гордостью, но и не без некоторого испуга.

— Он славный тип, но с такими типами, как он,— сказал мой сосед,— никогда конца не будет войне. Это патриот. Я-то не патриот, но я признаю, что он парень лихой.

Он не хотел наказать солдат, которые оскорбили жандарма, этот демагог.

— Удивительнее всего, что его отец — министр и миллионер,— продолжал характеризовать нового командира мой сосед.

Действительно, старик Дюмон-Вервье, старый католик, был министром и заседал рядом с Брианом. Я как-то слыхал в Сорбонне о Жаке Дюмон-Вервье. Его диссертация на тему из истории революции вызвала скандал и в монархическом лагере, и среди левых. Он был католик и демократ.

Я внимательно всматривался в его лицо. Он был похож на ученого монаха. В нем не было ничего военного.

— Здравствуйте! — крикнул он.

— Здравствуйте, капитан! — гаркнула рота в один голос, на русский манер.

Это было все. Поздоровались. Но с Грюммэ разговор был отдельный.

— Сержант Грюммэ! — позвал он.

Грюммэ вышел из рядов и остановился перед капитаном. Мне пришло в голову, что Грюммэ и Дюмон-Вервье раньше встречались друг с другом в каком-нибудь салоне. Они оба принадлежали к одному и тому же миру старой католической буржуазии. Семья, к которой принадлежал сержант, была католической, остальные Грюммэ были протестанты. Капитан, поглаживая перевязанную руку, осматривал Грюммэ с головы до ног. Затем он взглянул ему в глаза и громко сказал:

— Сержант, вы от нас уходите. Ступайте к командиру полка, он вручит вам наряд.

Я наклонился, чтобы увидеть лицо Грюммэ. Он даже

побледнел от радости, стоя в позиции «смирно», и весь так и трясся. Но тотчас же он понял, что получил моральную пощечину. У него стало дергаться лицо.

Только сегодня утром он начал искать сближения с нами, только сегодня он получил полагающиеся пехотинцу башмаки.

— Ступайте! — отрубил капитан и резко повернулся к нему спиной.

Шопот побежал по рядам.

Прибыл ординарец. Рядом с ним шагал еще один солдат, который тоже уходил из полка,— его перевели на военный завод. Он смотрел на всех нас блуждающими глазами. Грюммэ пошел с ним, забыв даже попрощаться с нами.

Но в этот момент тронулась пулеметная рота нашего батальона и преградила дорогу ординарцу и его обоим спутникам. Затем выступили мы.

Не знаю, по какой причине, но ординарец застрял, и вышло так, что мы продефилировали перед Грюммэ.

В восторг это его не привело. Глубокое безразличие, которое проявила к нему вся наша рота, отразилось в двусмысленной улыбке, которую он увидел и на моем лице.

Состояние Грюммэ было сложно: животная радость и испуг боролись в его взгляде. Дрожащими губами сдерживал он судорожный смех, но в глазах его мелькнула мимолетная зависть к нашей славной судьбе. А рабочий, переведенный на военный завод, уже начал выходить из оцепенения, и циничный смех сотрясал его щеки.

Мы прошли.

— Неспокойно у него в кофейнике. Ты видел? — сказал мой сосед.

— Ну, а ты как бы поступил?

— Да, брат, если бы я умел устраиваться, как они...

Это была философия всей роты. Люди покорно шагали вслед за своим таинственным капитаном.

Назавтра начался Верден. Через несколько дней капитан был убит. Электрик из Нанси вытащил меня из обрушившегося блиндажа. Меня эвакуировали.

## IV

Несколько лет назад, возвратившись из продолжительной поездки по Америке, я на одной из парижских улиц увидел рекламу кинокартины о Вердене. Премьера должна была состояться на торжественном вечере в театре Гранд-опера. Я редко хожу в этот театр и еще реже бываю на торжественных вечерах. Кроме того, не верил я и в подлинность этой «исторической картины». И все же какое-то беспокойство охватило меня, и я решил пойти посмотреть, не дожидаясь, пока картина перейдет в рядовые кино.

От одного товарища, который стал шишкой в кинематографических сферах, я получил пригласительный билет.

Как я и опасался, нервы мои сразу натянулись от вида той публики, которую я застал в зале. Эти люди никогда не бывают так отталкивающи, как на праздниках дешевого тщеславия. Случайно полученные приглашения объединяют здесь консьержей, министров, выскочек, зайцев, призрачных знаменитостей и неудачников, жаждущих быть замеченными, законных жен и любовниц, карманщиков, людей грязных, плохо одетых, некрасивых. И все здесь пьяны от чванства, свойственного публике премьер.

Я горько пожалел, что пришел, но все же превозмог свое желание удрать. Усевшись в кресле, я закрыл глаза и стал ждать. Я открыл глаза только тогда, когда темнота скрыла эту антипатичную толпу.

Я увидел те места, где я столько перенес и где пережитые мною страдания помогли мне узнать самого себя.

Сначала был показан общий вид. Вот они, все эти небольшие возвышенности к северу от города, у которых останавливалось наступление и дальше которых не шла защита. С чудесной быстротой восстановились в памяти забытые детали. Я снова увидел то раннее февральское утро, когда наш полк пошел на Тиомон без прикрытия, как по мирному полю. Патрули были высланы вперед. Я был в патруле. Предполагалось, что впереди нас находятся остатки французских войск, остатки того, что было сметено и уничтожено первой германской волной, которая сама разбилась здесь и погибла. Действительно, в яме, у

лесочка, мы нашли несколько человек, сгрудившихся у пулемета. Это были уже не люди. Наше появление зажгло было в их глазах слабый, угасающий огонек, но эти обломки кораблекрушения, эти застигнутые обвалом люди были несчастнее, чем заблудившиеся в пустыне или утопающие в подводной лодке. Они знали, что мы пришли не затем, чтобы их спасти, что и после нашей гибели они останутся под теми же невообразимыми потоками раскаленного железа и будут под ними погребены.

Мне особенно запомнился один из них, сутулый и худой детина громадного роста. Козлиная шкура на плечах, небритая борода, серые руки, растерянный взгляд делали его похожим на Робинзона.

Да, все мы были Робинзоны! Всех нас потопила пучина, в которую мы сами ринулись. Месяцы и годы жили мы в невыразимом одиночестве, затерянные, ютясь небольшими группками в ямах, разбросанные среди опустошенных пространств.

Действие на экране развертывалось иногда правдиво, иногда впадало в фальшь. Картина была далеко неполна, но все же волновала. Тому, кто знавал какую-нибудь местность или живое существо в свои наиболе трагические минуты, всегда обидно и тяжело увидеть их изображение, воспроизведенное по неожиданной прихоти литературной, газетной или кинематографической торговли.

Как мучительно тяжело для того, кто, скажем, знавал большого человека, увидеть в одно прекрасное утро некролог о нем и видеть, как строка за строкой вытравливают из знакомого образа все живые черты. Так бывает и с большими событиями. Самое яркое произведение искусства не может не разочаровать того, кто знает подлинную правду.

Однако искусство может дать забвение, и тогда воскресают старые воспоминания.

Пригороды; дороги; форты; войска, захваченные врасплох; первые подкрепления. Беженцы. Вожди. И, наконец, показанные в искаженном виде немцы, немецкие Робинзоны, наши соседи, так же как и мы поглощенные пучиной.

С четверть часа я был целиком охвачен воспоминания-

ми. Затем я стал возвращаться к реальности, к ощущению самого себя, своего собственного тела, я чувствовал себя выброшенным на берег и спасенным. Из глубокого кресла я смотрел картину своих былых страданий. Убогий и хмурый человек на экране, который бежал и падал, и снова вставал, это был я сам.

И здесь, во фраке, среди аккуратных и невредимых мужчин во фраках и декольтированных дам, это тоже я. Кто же из этих двух настоящий я? Кто я на самом деле? И кто они, эти люди вокруг меня? Они окружают меня такой необычайной тишиной, что я едва замечаю их. Нет ничего необычайнее, чем люди, которые погружены в глубокое и торжественное молчание.

Понимают ли они, что такое война? Знают ли они ее? Вспоминают ли они те дни? Раздумывают ли о них? Догадывались ли когда-нибудь эти женщины о том, что это такое? А эти мужчины, если они были там, знают ли они слова, какими можно рассказать о войне?

## V

Молчание прервалось. Короткий и нервный шопот раздался позади меня. Мое внимание было разбужено. Но тишина воцарилась снова, и я вернулся к своим размышлениям.

Однако шопот возобновился. Где-то очень близко и вместе очень далеко слышался мужской голос. Ему отвечало легкое воркование женщины. Хотя разговаривали тихо и сдержанно, я тотчас догадался, кто находится позади меня. Я был уверен, что беседу эту вели люди, не похожие на ту публику, какую я видел в зале до начала картины. Это не напыщенный буржуй. Это, очевидно, один из тех, кого называют светскими людьми, один из тех, кто всегда и везде афиширует некоторое пренебрежение ко всему. Легкая снисходительность тона, небрежная манера цедить слова сквозь зубы укрепляли во мне это предположение. Но было и еще кое-что в этих резких, хотя и приглушенных, восклицаниях, на которые отвечал воркующий голос женщины. Я слышал отзвуки встревоженного и неудержимого волнения, испуг и напря-

женный интерес. Мне было совершенно ясно, что этот человек испытывает то же чувство страха, какое испытал некогда я, какой испытывали тогда мы все.

Какой громадный, всеобъемлющий страх повис и корчился тогда над этими вот невысокими холмами!

От страха, какой испытывали люди, которые корчились, валялись, вдавленные в промерзшую землю, прокисая в собственном поту, в своих нечистотах и крови, родился стон, похожий на крик женщины. Как будто там, на подступах к Тиомону, в долине Флери, кричала громадная, циничная и бесстыдная самка. Как она стонала и выла!..

Дрожащий голос снова и снова возникал позади меня. Неудержимые, бессознательные восклицания вызывали со всех сторон испуганное и неловкое шикание, но призывы к спокойствию оставались без результатов.

В этих восклицаниях я слышал отзвуки того неодолимого сотрясения внутренностей, на которое были обречены обе армии, отданные в жертву химии, разрушавшей мир.

Картина прервалась внезапно, и наступил антракт.

Первое мое движение было повернуться, чтобы увидеть, до конца изучить того, кто уже разоблачил себя в темноте. Я знал о нем больше, чем о многих других, кого видел много раз.

Но какой-то инстинкт, инстинкт охотника, удержал меня на месте. Осторожность заставила меня не покидать прикрытия. Я остался в кресле и напряг слух.

Молчание, разлитое вокруг, наложившее печать на все уста, наконец сломалось и стало рассыпаться. Однако, несмотря на поднявшийся шум, я мог гораздо лучше, чем раньше, удовлетворить мое любопытство. Голоса, раздававшиеся позади меня, теперь звучали громко и ясно.

Сначала заговорила женщина. Голос был живой, но лишенный индивидуальности. Женщина так же, как и ее собеседник, говорила с аффектированной растяжкой. Эта манера аристократов подчеркивалась время от времени особыми гортанными звуками, происходившими от привычки к английскому языку.

Что-то неуловимое в голосе женщины показывало, что она взволнована. Но с первых же ее слов я понял, что она только разделяла волнение своего спутника.

— Ах, значит, вы были под Верденом?! Вы были там авиатором? Это, должно быть, было ужасно!

— Нет, тогда я не был еще в авиации! Я ведь сначала служил в кавалерии, в драгунах! А затем меня перевели в пехоту.

— Неужели?.. Вы были в пехоте?

— Да, хотя и недолго!.. И как раз моя дивизия одной из первых была отправлена под Верден.

— Ужасно, должно быть, увидеть снова все это...

— Да, это производит очень большое впечатление.

— Вы очень взволнованы! Бедный Рири!

— О, я пробыл там, правда, не очень долго, но все-таки...

Голос его звучал уже по-иному. Мы ведь были уже не в темноте, при которой сердца раскрываются, как в исповедальне.

Полный свет и воркующий голос этой женщины заставили мужчину преодолеть волнение. Он стал восстанавливать свой обычный, каждодневный облик.

Это был законченный лжец. В самом голосе его была ложь. Эта ложь колебалась, с трудом находила дорогу, но все же крепла, смелела, становилась циничной

— Это было страшно шикарно — перейти в пехоту,— говорила она.— У меня был кузен, который тоже перешел в пехоту и был убит.

— Везде убивали, но все-таки... Верден... это, конечно, что-то совсем особое...

— Да притом, воображаю, какая там публика, в пехоте...

— Ну, еще бы. Но и там попадались хорошие малые...

— Вы узнали знакомые места?! Вы были так взволнованы все время!

— Да, любопытно было увидеть все это.

— Увидеть вторично...

— Да... Это был лучший армейский корпус.

— Это ведь вы остановили немцев.

— Да, мы. Я вспоминаю это утро. Когда солдаты узнали, что придется нам... Как отчетливо вспоминается...

— Расскажите мне все, все. Как вам удалось уцелеть?

— И сам не понимаю. Это было ужасно, ужасно...

Снова стало темно в зале. Вторая часть картины, где

показывалась оборона и падение форта Дуомон, была еще более страшна, чем первая. Снова воцарилась тишина, и даже мой герой не нарушал ее. Но когда был показан взрыв, черный взрыв, который своим вулканическим ужасом, своей нечеловеческой чудовищностью закрыл весь экран, у меня вырвался стон. Я почувствовал в самом себе этот стон, как невероятно ослабленное эхо того неслыханного вопля, который вырвался у меня там, когда однажды под Тиомоном разорвался тяжелый австрийский снаряд. Этот вопль раскрыл мне самого меня лучше, чем вся моя жизнь. И теперь я почувствовал, что основа этого вопля — чудовищная боль и страх боли — продолжает жить во мне. Страдание и теперь охватило меня. Я застонал. Трагизм впечатлений, заставивший меня застонать, нашел отклик и у человека, сидевшего позади меня. От него ко мне перебегал ток. Все мои нервы натянулись. Я обернулся. И в один миг пережил все то, что Грюммэ рассказал о верденских событиях.

Это он сидел позади меня. Он, Грюммэ, был здесь. Какое чувство заставило его притти смотреть этот фильм? Гипноз старого страха, потребность воскресить его, насытить его образами? Или это было циничное желание насладиться своим бегством, своим спасением, потребность с восхитительной настойчивостью повторять самому себе:

— Как я счастливо отделался! Как удачно я унес ноги!..

Однако он не рассчитал, что наступит робкий и угрюмый антракт. Он не мог вообразить, что через несколько минут он увидит себя в ярком свете, почувствует себя в ужасном положении человека, который оказался дважды беглецом, человека, который нарушил договор и покинул товарищей, человека, который хотел скрыться от их суда и который лгал, лгал расчетливо, осторожно, боясь сорваться.

## VI

Когда картина кончилась и был дан полный свет, я встал и обернулся.

Мы стояли лицом к лицу, подавленные очевидностью. Он узнал меня. Этого он не предвидел. Он закачался. Он

побледнел и опустил глаза. Затем его взгляд инстинктивно перешел на женщину, стоявшую рядом. Я тоже посмотрел на нее. Какая-то догадка на секунду озарила ее, но сразу же погасла. Грюммэ сжал губы так же точно, как тогда, когда ждал телеграммы. Он резко отвернулся от меня и с рассчитанной медленностью направился к выходу, сдерживая свои нервы. Он шагал осторожно, чтобы не задеть в толпе свою красивую спутницу.

Я не похож на судью. Взгляд мой провожал его до самого выхода скорей с любопытством, чем со злобой.

Из-за чего мне злиться на него? Ему было страшно. Мне тоже. Умел ли я подавить свой страх? Иногда это удавалось, но как часто страх всецело овладевал мной. Грюммэ гораздо больше боялся толпы, чем смерти. Его гораздо больше пугал наш грубый смех — людей, привыкших ко всем испытаниям,— чем сами эти испытания.

Если бы телеграмма не пришла в свое время, он, быть может, оказался бы в бою не хуже других. Ведь и этот рабочий, переведенный на завод, был до того не хуже всех других солдат.

Или Грюммэ действительно был из тех редких трусов, которые страдают трусостью, как неизлечимой болезнью? Быть может!

Во время войн и революций приходится встречать людей, которые до бешенства скупы на свою кровь, как иные бывают скупы на свое золото.

Я прошел вслед за Грюммэ до лестницы. Он обернулся. Женщина тоже.

Они не могли не почувствовать мой взгляд.

# ДАРДАНЕЛЛЫ

Под ногами, между зыбких досок, просвечивает бездна. Она притягивает к себе, и мне приходится отводить от нее глаза. Вокруг нежатся залитые солнцем хлеба. Церковь, на колокольню которой я забираюсь ежедневно, расположена на небольшом холме. Необозримые просторы расстилаются передо мной. Плоская земля придавлена вековым трудом. С моей вышки редкий кустарник, заборы, листва, просвечивающая как занавеска, выглядят непривлекательно, и я предпочитаю ходить пешком по земле. Широкая дорога ведет к моему холму. По обе стороны от нее раскинулся маленький нормандский городок. Узкая, длинная сеть улиц. Домов здесь столько же, сколько деревьев. Городок похож на редкую изгородь. Позади нее расстилаются луга.

На другом конце дороги, на самой окраине городка, виден красивый парк, принадлежащий помещикам де-Гивр. Замок выдержан в простых и правильных пропорциях. Лепные украшения во вкусе Людовика XV служат выдержанным завершением этих пропорций. Однако замок, несмотря на все эти украшения, кажется только лучшим из окрестных домов и ферм. Здесь не чувствуется горького противопоставления между городом и деревней. Здесь жива еще та эпоха, когда город, только что созданный деревней, делился с ней достижениями своей архитектуры.

В другом конце города есть еще один замок. Здесь родился Вильгельм Завоеватель, последний нормандский герцог, ставший первым нормандским королем Англии. От этого замка осталась только старинная башня. Нередко сюда приезжают в элегантных автомобилях потомки древнейших фамилий Англии, чтобы взглянуть на это древнее гнездо.

Нормандия завоевала Англию, но Англия не осталась в долгу. Немало наездов сюда совершили предки нынешних туристов. Сколько было распрей между соседями. Сколько времени прошло, пока они оставили, наконец, в покое друг друга. Море, наконец, разделило людей одной расы на два отдельных отечества.

Неподалеку от моего наблюдательного поста находится целый ряд необычно больших зданий. Все они отличаются казенной сухостью. Построены эти хмурые здания недавно: это — казармы. В их строгости и зловонии протекает будничная жизнь гарнизона. За этими стенами содержится только часть здешней молодежи. Остальных увезли. Два батальона этого полка прозябают в Париже, в казармах Пепиньер, в двух шагах от площади Оперы.

Как красивы отблески солнца в зеленых хлебах. Городок затоплен зеленью. Скоро час дня. Все в городке дремлет. Люди забрались в дома и спят. Здесь как-будто царствует мир. Но ведь идет война. Эти громадные казармы — только крошечная часть катастрофически огромного скопления людей. До предела заполнены все дома в городе и в окружающих деревнях. Городок лопается от людей, хотя главные массы уже отправлены в величайший из всех городов, во много раз больший, чем те города, где некогда торчали все эти люди. Он находится под землей, этот подземный город, и представляет собой нору, которая тянется поперек всей Европы. Это он, этот подземный город, наполнил землю десятью миллионами живых и мертвых.

У подножия моей церкви, на маленькой, кривой и кособокой площади, изрытой дождевыми потоками, начинается оживление. Это ежедневный сбор. Запасная рота, в которой я состою, собирается к рапорту. Я не стану беспокоить себя из-за этого. Я являюсь, когда хочу. В депо во-

обще нет строгого порядка. Рядовые заключили на этот счет молчаливое соглашение с офицерами: все ведь одинаково предназначены на убой. Один только начальник депо суетится среди молчаливых и вялых солдат: его на фронт не отправят, и ему от этого не по себе. Учение идет вяло. Он не может расшевелить ветеранов, они неподвижны и сварливы. Только те несколько человек, которые назначены в соседнюю деревню обучать новобранцев, платят угрюмым усердием за право сохранить жизнь еще на несколько месяцев.

В начале 1915 года завершилась полоса истребительных боев в Шампани. Армия в ожидании нового весеннего наступления погрузилась в безразличие. Это то безразличие, которое в прошлом году дало и победу на Марне и разгром под Шарлеруа.

Мы отсиживаемся и лодырничаем. Я — вдвойне лодырь, и как раненый и как буржуа. Все думают, что я сын какого-то важного полковника. Этим объясняют мою безнаказанность. Если не удается махнуть в Париж, я сижу у себя в комнате, в гостинице «Коронованного оленя». Я мечтаю о женщинах, читаю роялистскую газету «Аксион Франсэз», орган Клемансо «Человек в цепях» и швейцарскую газету. Я хочу знать все тайны. Но так как ничего понять не могу, то набрасываюсь на книги Паскаля, привлекшие повышенное внимание в годы войны.

Иногда, наконец, при участии других буржуа из полка я устраиваю попойки.

Иногда я отправляюсь в гости в помещичий дом. Семья де-Гивр живет в мечтах о прошлом. Простонародное солдатье, размещенное в замке на постое, с пьяным шумом празднует право человечества устраивать войны. Господин де-Гивр, бывший моряк, занимается астрономией. Этот очаровательный старик, бородатый мудрец в деревянных башмаках и черной пелерине с трауром, убегает из дому через черный ход и спешит ко мне, в церковь. Здесь он во мраке садится за орган.

С тех пор, как настала хорошая погода, я каждое утро с наслаждением подымаюсь по шатким ступеням на колокольню и любуюсь бесконечными зелеными просторами. Но в полку знают, где я. И вот меня зовут:

— Послушай, сержант! Вызываются охотники в экспедиционный корпус в Турцию.

Я стою в строю. Все наши уже не раз побывали на фронте, не раз были эвакуированы. Люди знают друг друга и по Шарлеруа, и по Шампани, и по великому отступлению 1914 года. И парижане, и крестьяне — все более или менее алкоголики: у одних лица зеленые, у других — красные. Мундиры у нас самые разнообразные. Эта пестрота и неряшливость была бы вполне подходящей для XV столетия, но на войне XX века это опасно.

— Наша рота должна выделить двадцать охотников для поездки в Турцию. Наш армейский корпус формирует полк. Два батальона будут взяты в Лионе.

Я вздрогнул. Я мечтал о Турции с тех пор, как мне отказали в переводе в английскую армию. Я надеялся, что получу там более нарядное обмундирование и найду что-нибудь лучше, чем та шумная бестолочь, в какой я жил здесь. Впрочем, мы все мечтали о какой-нибудь Турции или Марокко. Все в полку, просыпаясь по утрам, на минуту воображали себя переселенными в какую-нибудь сказочную страну, вдали от военных опасностей. Всех нас одинаково соблазняла мысль о поездке куда бы то ни было, лишь бы это отдаляло от главного театра войны. Всем хотелось поскорее отправиться искать немцев там, где их не было. Турки казались противником живописным, забавным и не слишком опасным.

Я взглянул на лица солдат. Они выражали согласие уехать куда угодно, только бы подальше. Все углы мира казались милее, чем эта предательская родная земля.

И все-таки — как итти по своей воле? Они не привыкли иметь свою волю. Все они привыкли выполнять чужую волю. И теперь они смотрели на меня.

Я сумел зарекомендовать себя в Шампани. Правда, здесь, в запасном батальоне, я был отъявленным лодырем. Но я знаю своих солдат. Им известно, что у меня другие взгляды, чем у них. И если бы я и был страшен, как всякий начальник, то я не был лицемером. Наши отношения наладились так, как если бы я сказал им: «Не слишком подражайте мне! Вы ведь прекрасно знаете, у меня

есть права, которых вы не имеете. Я сожалею, что эти права поневоле ограничены, и отношусь к ним иронически, но все же я ими пользуюсь. Если я поступаю плохо, то я это делаю редко, и мне это сходит с рук. А когда вы поступаете плохо, это имеет тяжелые последствия. Когда вы принимаетесь пить, вы напиваетесь, как свиньи. Я же пью, как психолог, ищущий новых обобщений. Командиры — вышли они из рядовых или получили воспитание — бывают хорошие и плохие. Я — по сравнению с другими — начальник неплохой, то есть тонкий демагог. Поймите меня с полуслова».

Вопрос об охотниках решался в отсутствии офицеров. С нами был только один старший унтер-офицер из запасных и один толстый старший писарь.

— Я еду,— вызвался я.

— Тогда и мы едем,— сказали окружающие.

— Ну да, мы поедем все вместе.

Я обернулся и сказал:

— Мы едем!

Другие ряды в строю еще молчали. И вот вдруг целый взвод вызвался ехать в Константинополь. Нормандцы всегда любили путешествовать. Впрочем, в нашем взводе были не одни нормандцы. Чуть не половину составляли парижане.

Был здесь Минэ, помощник машиниста, сын колбасника на Монмартре. Был Мюрат, акробат и сутенер. Были крестьяне, рабочие, мелкие служащие. Был Ле-Сенегаль, обрадованный тем, что и его помещик Жермен де-Гивр, у которого он арендовал землю, тоже уехал на Балканы.

## II

Полк находился в пути между Лионом и Марселем. В Руане он захватил нормандцев и парижан. В Лионе он пополнился не только местными жителями, но поглотил бургундцев, овернцев, а также гасконцев и уроженцев Пуату. Вновь созданная крупная часть направлялась к морю, в чужие страны.

Мой взвод получил несколько неожиданных типов. Солдат в те времена уже нехватало. Стали брать людей из

тюрем. Я получил трех уголовных. Один из них был субъект особенно тяжелый. Это был мрачный, замкнутый и зловредный парень. Ему было море по колена, и он всегда был готов рискнуть хотя бы и расстрелом, только бы попытаться спасти свою шкуру. Меня он терпеть не мог, а я его боялся.

Двое других были неразлучными друзьями. Их проделки и плутни были сравнительно безобидны, и каждый соглашался отвечать за другого. С ними можно было ладить. Мы друг другу нравились.

Поезд остановился в Провансе в чистом поле. Мои нормандцы находили, что местность уже напоминает Турцию — она слишком суха. Люди вышли из вагонов поразмяться, оправиться. Среди солдат появилась традиционная фигура в штатском, и стали наполняться баклаги.

Я был озабочен поведением Пьетро. Этот новичок, поступивший к нам из тюрьмы в Руане, лежал на насыпи пьяным. Пьетро был клоуном в цирке Медрано. Ростом он был не выше сапога. Это был горлопан и бессовестный пройдоха. С первого взгляда я почувствовал, что он способен на всякую гадость. Поезд свистел, горнист трубил, а Пьетро продолжал валяться на насыпи, ожидая, пока ему принесут его баклажку. Я обругал его, но это на него не подействовало.

— Пьетро, мне осточертели твои штуки. Ты у меня вот где сидишь. Если так будет продолжаться...

— Ну, чего тебе там? Баклага-то ведь казенная...

— Пьетро, прошу вас мне не тыкать!.. Если вы не зайдете в вагон, будет худо.

Что мог я предпринять? Только кулаками можно бы уладить дело, стукнуть бы его хорошенько. Но действовать кулаками я не считал возможным. Поезд вот-вот трогается. Какой-то бойкий мальчуган прибежал, задыхаясь, с баклажкой Пьетро. Пьетро начал карабкаться на насыпь, но внезапно сорвался и упал головой вниз.

Поезд двинулся... Что делать? Я кинулся за помощью к двум уголовным.

Они успели выскочить, подхватить Пьетро и впихнуть его в вагон в хвосте поезда.

И вот в семье царит порядок. Только один из уголов-

ных, мой злобный Камье, продолжает бросать на меня угрожающие взгляды.

Борьба с таким начальником, который управляет хитростью, а не силой, для Камье дело чести. Все вопросы, какие возникали между ним и обществом, он привык решать только силой.

## III

Наш полк состоял из чистокровных французов. Когда мы прибыли в Марсель, город произвел на нас такое впечатление, как будто мы на чужбине. С первого взгляда он еще показался родным даже нормандцам и овернцам. Несмотря на жаркое лето, бульвары были серыми от пыли, как на севере. Но стоило присмотреться к толпе, и в глаза бросались странные рожи. Ну что ж,— большой город. Мало мы их видали?

Но здесь стоит какая-то особенная, серая пыль, в которой человек моментально чувствует себя обессиленным. Это — не обыкновенная пыль.

Мы бродили из одной части города в другую, но я не узнавал Марсель, в котором я был проездом в детстве.

Полк жаловался на жару. От солдат несло потными ногами; улица отвечала запахом подмышек. Мы были затянуты в новенькие голубые мундиры, которые годились только для тех краев, которые мы покидали. Мы неуклюже шагали. Тщедушные и сумрачные люди, сгибавшиеся под тяжестью амуниции, были совершенно неприспособлены для крестовых походов.

Нас было три гысячи. Мы представляли совершенно свежий полк, как будто и не было пятисот тысяч убитых, не считая пленных, искалеченных, заболевших венерическими болезнями и душевно больных. Мы проходили по мостовой. На тротуарах стояла удивленная толпа. Со времен войн древности и революций Марсель никогда не видел столько войска.

Средиземное море было неспокойно: как раз тогда вступала в войну Италия. Но ни вмешательство Италии, ни прибытие арабов и негров, ни эшелоны австралийцев, ни

японские суда не взволновали Марсель так, как этот хлынувший с севера поток французов.

Но свою взволнованность толпа выражала только заученными фразами: «славные солдатики» или «бедные солдатики».

Я впрочем удивлялся и этому. Как могла толпа хоть на минуту покинуть свои делишки? Здесь были женщины, потерявшие мужей и не заменившие их новыми. Были и такие, которые и при живых мужьях нашли им замену. Здесь были сироты и проститутки, и встревоженные буржуа, и разжиревшие ремесленники, и богачи-нувориши. Звуки военной музыки уравняли всех. Все казалось проникнутым одной общей целью на этом бульваре. Все движется в одном направлении. Все идут в ногу с жизнью, а жизнь знает, куда идет — к смерти... Если у тебя цель перед глазами, то ты всегда найдешь свой ритм. А найти ритм, хотя бы и первый попавшийся, случайный, это — самое важное.

Негры, китайцы, индусы, толпы людей, не знающих своего происхождения, родившихся в великом туннеле между обоими тропиками, где нищета и нажива бьются и сожительствуют друг с другом. Полчища этих людей шагают в ногу с нами.

Так по крайней мере нам казалось. Весь этот безумный ритм гавани, заводов, публичных домов, полиции, госпиталей, кафе, семейных очагов,— весь он укладывается в ритм нашего оркестра.

Наш полк провинциалов и крестьян, отправляясь воевать с турками, проходил через город иностранцев, который был вместе с тем родным, старым, провинциальным французским городом с крепким устойчивым бытом.

Старая Франция была жива. Это она выдвинула тех сметливых избранников, которые бросились зарабатывать деньги и укреплять государство. Им помогала демократия, жадная до крупных барышей и маленькой ренты. Я терялся от всего этого и пьянел от растерянности. Забыта моя прежняя буржуазная особа! Я опять окунулся в войну, в толпу, в вооруженную сутолоку. На этот раз дело идет всерьез. Я уже не вывернусь, я не хочу больше вернуться на прежние пути.

## XI

Однако раньше чем погибнуть, я хочу еще одну минуту побыть самим собой, хочу испытать еще хоть одно личное приключение. Имею же я право раньше, чем покинуть эти берега, на миг расстаться с полком. Он и так привлек меня только своей нелепостью.

Полк отправился устраиваться на временные квартиры в какой-то покинутый Луна-парк. Люди стелили солому для ночлега между декоративными холмами американских гор, ненужные взлеты которых подымались к небесам.

В этот вечер я был дежурным. Но второй сержант моего взвода, старый корсиканец, пришедший добровольцем из отставных, охотно согласился заменить меня.

Я отправился в лучшую часть города и зашел в кондитерскую Вогаде. Со мной был Байи, молодой санитар из Руана. Я сразу же пристроился к первой попавшейся даме. Она сидела за столиком в обществе своей сестры и ее детей.

Я подошел к ней, когда она была занята шоколадными пирожными.

Это была худощавая брюнетка, похожая на тощую козу. Она взглянула на меня приветливо. Ее черные глаза, казалось, посветлели, когда я заговорил с ней. Сестра поторопилась расплатиться за пирожные и увела ребят. Это меня убедило, что сестра не будет помехой, и я взялся за дело всерьез.

Деловитым голосом она расспросила меня о моем семейном положении. Похотливое желание сжимало ей горло, но головы она не теряла. Она оставалась хозяйкой своей похоти. Дело надо провести быстро, тихо и с выгодой.

— Вы проведете в Марселе несколько дней?

— Неизвестно... Нас торопят. Нас там ждут. Но право на отдых у нас есть.

Она назвала мне гостиницу, где я могу снять комнату. Она сейчас придет.

Повидимому, она ошиблась: гостиница оказалась для духовенства и была полна священников. Ко мне в номер ее не впустили. Церковный служка пришел ко мне с сообщением, что меня в гостиной ждет какая-то родственни-

ца. Мне хотелось сказать, что эта родственница — обыкновенная проститутка и что я уезжаю умирать на фронт... Но эта идея пришла мне в голову уже на лестнице.

В гостиной я застал мою даму. Она была провинциалка, в дешевой шляпке, но играла роль высокомерной, обиженной, боящейся пересудов дамы. Она встретила меня неприветливо, как будто не она выбрала это убежище благочестивых.

Однако желание снедало ее, и она назвала мне ресторан, где я могу занять отдельный кабинет. Она придет туда после обеда.

Я пошел в этот ресторан с опаской, думая, не попаду ли я и здесь на трапезу епископов. Но нет, эти опасения не оправдались. Пришлось, однако, ждать целый час. Я сходил с ума. Улицы были полны народа. В полном разгаре были ночные празднества, безумства весенней ночи и солдатского разгула.

Она все же пришла...

Для начала она с аппетитом поела, хотя, вероятно, уже успела пообедать у сестры.

Затем... она показала себя потаскухой. Желания ее были определенны: она хотела как можно скорее сделать свое дело. Она легла на кушетку и приняла соответствующую позу. Конечно, и я желал этого, но я желал и еще чего-то. Но ее все остальное не интересовало.

Оказалось, что она из приличной семьи нотариуса. Со мной она обращалась свысока, как с солдатом, который не слишком опытен в делах любви, суетится и имеет мало денег.

Я был в отчаянии и молчал. Я напряженно думал о том, что произошло, и о том, что на этом кончается моя жизнь. Это — в последний раз. Больше этого не случится. Однако это повторилось впоследствии, и неоднократно. Мне было двадцать два года. Голова моя была острижена под машинку. У меня были ребяческое телосложение, шершавая кожа.

Она разыгрывала привычную комедию. Мои мысли были далеко. Мы были дьявольски далеки и чужды друг другу. Она искала удовольствия, а я считал минуты и ждал, когда это кончится.

Она не ценила возвышенности любовных минут. Уже целый год она переживает их со случайными встречными в военной форме. Я рассеянно слушал, как она воркует и врет в промежутках между вздохами любви.

Мне пришла в голову грустная и злая мысль:

«Вслушайся в слова этой потаскухи, они спасут тебя от тоски по женской любви. Поскорей бы уехать. Да здравствует мужчина! Да здравствует смерть!» — говорил я себе.

Я чувствовал себя очень неважно, но она сумела еще ухудшить мое настроение. В этом отвратительном кабинете она два часа под ряд рассказывала мне, как она обожает своего любовника, который находится на французском фронте. Потом она пожелала шампанского. Чего доброго она потребует и денег? Очевидно, она хочет извлечь как можно больше из нашей встречи.

Она действительно потребовала денег. Ей пришло в голову, что кое-что у меня есть, больше, чем мне нужно, не напрасно же она расспрашивала меня о моей матери, почему же ей этими деньгами не воспользоваться.

Это была мещанка. Война многого лишила ее. Должна же она что-нибудь и получить.

Меня это заявление не расстроило. В мои двадцать два года я еще был неопытен и скован робостью. Будучи военным с давних пор, я знал только публичные дома, любовником я был неважным. За это надо платить. Не может же она заниматься моим воспитанием. Да, наконец, я ведь предназначен для смерти, а не для любви.

Денег я ей не дал: почти все, что было у меня, я уже издержал в Руане. Я ожидал перевода от матери. Но я не без задней мысли обещал ей дать денег завтра. Она назначила мне еще одно свидание и ушла в кино, где должна была встретиться с сестрой.

— Чтобы свекровь не догадалась...

Значит, она замужем.

Я ушел ночевать в свою поповскую гостиницу и снесся по телефону с Луна-парком. Надо же знать, что там происходит.

Я боялся, что полк может уйти без меня, и спал плохо.

Но на следующий день, придя в Луна-парк, я увидел,

что все обстоит благополучно. Люди ушли гулять. На прогулку ушел и командир полка. Он, оказывается, еще никогда в жизни не видел моря.

В полку меня ждал почтовый перевод. Я позвал Байи, и мы вместе с ним пошли в гости к Верфелям.

Байи был красивый парень, с розовыми щеками и голубыми глазами. Я как-то встретил его на курорте. Тогда он еще держался за маменькину юбку. Супруги Верфель приехали вместе с нами из Руана. Они сопровождали сына, который служил в нашем полку. Он был правнук еврея, служившего кирасиром в армии Наполеона.

Госпожа Верфель, женщина уже немолодая, видимо, была в свое время красавицей. Она влюбилась в Байи. Таким образом семья Верфель провожала в дальний путь не только рядового Верфеля, но и рядового Байи.

Байи снял комнату в моей поповской гостинице. Госпоже Верфель повезло больше, чем моей козе: ей посещения были разрешены. Она — мать солдата, рядового Верфеля, который находится в гостях у рядового Байи.

После завтрака ко мне позвонила коза.

— Вас просит к телефону госпожа Вульпик-Кандри.

Впрочем, это имя я узнал лишь впоследствии, а в то время она была для меня госпожой Моро. Она назначила мне встречу у своей портнихи: там имеется свободная комната.

Едва войдя в эту гнусную комнату, где уже до меня происходило столько мерзких адюльтеров, я сразу же стал извлекать пользу из факта обладания полученными мною в тот день пятьюстами франков: я рассказал ей об этом, и сразу удвоилась симпатия этой женщины. Ее похотливость была неразрывна с корыстолюбием. Если у нее возникало страстное желание купить шелковые чулки, то это для того, чтобы обворожить ими кого-нибудь.

Она разделась. На ее дряблой и обвислой груди росло несколько черных волосков. У нее была желтая кожа, какая бывает при болезни печени. Худые и подвижные бедра лоснились.

На одну минуту она поддалась моим неумелым усилиям.

А я приходил в отчаяние оттого, что так и не успею

по-настоящему познать женщину, до того как меня пристрелит турецкий пулемет...

— Если бы я остался в Марселе недели на две, я бы, пожалуй, успел расшевелить вас,— сказал я ей после первых восторгов.

— Что ты хочешь сказать? Меня зовут Берта.

— Я бы старался! Я хочу стать опытным!

Женщины всегда бывали суровы со мной, и я привык считать себя недостойным их. Я думал добиться успеха усердием и покорностью. Но женщина не поддалась моей немой мольбе. Она не сумела перейти от чувственности к нежности, она не сумела ласково коснуться своей рукой моей головы. От этого, несмотря на всю мою робость, мое сердце ожесточилось. Жизнь показалась мне отвратительной.

«Вы, остающиеся в живых, вы, стоящие на ногах! думаете ли вы о лице того мира, который я хороню? Страшитесь ужаса, который ждет меня в могиле». В такие минуты в голову приходят заклинания.

Ее стало раздражать презрение, переполнявшее меня.

Странная смесь ясности и пренебрежения, жесткости и жалости заполнила комнату с опущенными шторами, с убогой обстановкой, насыщенной запахом пыли и туалетной воды. Слова и жесты выдавали меня. Я хотел проявить иронию, но получалось грубое зубоскальство.

Я хотел вздохнуть, но из моей груди вырывался стон.

В конце концов я махнул рукой на самого себя. Ведь впереди все равно турецкий пулемет.

Я встал, порылся в карманах шинели и бросил на постель пятьсот франков.

Она схватила их, как самая обыкновенная проститутка. Она оказалась чрезвычайно обижена тем, что я больше ничего не потребовал от нее. Так не поступают. Если уж заплачено, следует забрать весь купленный товар.

Желчь разливалась во мне, мы начали одеваться, сохраняя напряженное и неловкое молчание.

Расставаясь, я обнял ее, поцеловал в губы так, что она почувствовала и то, что не утолены мои желания, и то, что я неожиданно кое-что понял. И я оскорбил ее:

— Шлюха! — сказал я,— я отдал тебе все мои деньги.

У меня даже не на что напиться сегодня вечером. Я еду в Турцию. Когда турецкий пулемет прострелит мне брюхо, мое проклятие настигнет тебя.

Она опустила руку в сумку, чтобы подать мне милостыню, но я исчез.

Больше я ее не видел. Я покинул поповскую гостиницу, куда она мне звонила. Это позволило мне свободно наслаждаться Марселем. Есть в жизни вещи, которыми можно наслаждаться только без женщин.

У меня снова завелись деньги: я добыл их у Байи, в ожидании нового перевода из дому. В тот же вечер я напился и с тех пор уже не расставался с алкоголем. Это тянулось несколько лет. Так вышел я из юности и вступил в жизнь.

Стремление напиться возникало у меня от ощущения непоправимости. Горечью были напоены все мои переживания молодости.

Наша жизнь в Марселе наладилась. Правда, каждый час мы могли ждать отправки, но пока что нас не трогали. Я находил унтер-офицеров, которые за плату соглашались выполнять за меня мои служебные обязанности. Сам же я по целым дням шлялся то с семейством Байи-Верфель, то с моими уголовными.

— Он женат на дочке моей жены,— сказал мне один из них о другом.— Мы живем в Клиньянкуре. Хотя и не имеем права оставаться там, но работать-то ведь надо?!.

— Сержант, ты — славный паренек,— сказал мне другой уголовный.— У тебя есть деньги. Это то, что нам нужно. Мы уж постараемся, чтобы тебе не докучали во взводе.

Я ходил со своими уголовными в злачные места. Я платил за выпивку и давал им денег на женщин.

Но они были не такие люди, чтобы платить женщинам: они быстро вошли с ними в сделку.

Полк совершенно растворился в Марселе. Жизнь в порту отличается особыми чертами. Порт нисколько не похож на города, населенные рабочими, крестьянами или буржуа. Он напоминает монастырь или гетто. Марсель был полон негров, китайцев, индусов, левантинцев, странных людей, которые родились между двумя тропиками от неизвестных

родителей. Наш полк затерялся в этой толчее. Наконец, настал момент,— это было как раз во время обеда,— кто-то крикнул, что полк уходит. Мы заторопились и догнали его на улице.

Весь полк оказался пьяным. Люди шагали к гавани, шатаясь самым скандальным образом.

Солдаты завалились спать на угольные кучи. Позади одной такой кучи мадам Верфель целовала Байи, в то время как господин Верфель считал ворон.

Мои уголовные церемонно беседовали с двумя девицами, которые на минуту вырвались из своего заведения.

Я был одинок.

## V

Все эти дни, просыпаясь по утрам, когда горнист играл зорю, я думал, что вот, мол, жизнь определилась. Я чувствую росу у себя на лице. Холод пробрался в палатку, и я окоченел. Но стоит встряхнуться, и я чувствую прилив молодой крови.

Вот это жизнь для молодого человека.

И товарищи у меня есть. Впрочем, не надо преувеличивать.— Я слышу, они ноют!? Они мне не товарищи.

Наконец, началась жизнь, к которой я стремился, осуществлялась моя мечта.

Моя мечта? О чем именно мечтал я? Прежде всего о природе. Это вполне понятно — всю жизнь, до самой мобилизации, я задыхался в большом городе, как в мешке. Но в сущности я не хотел чувствовать себя одиноким на лоне природы. Ну что ж, здесь нас три тысячи, но три тысячи мужчин. У меня и времени не хватает тосковать о женщине. Я на время избавлен от половых излишеств городской жизни. Я могу сосредоточить свои мысли, я могу действовать.

Мне нравится быть среди этой толпы. Все растворились, смешались в ней. Я предпочитаю находиться в толпе чужих людей, чем быть с другом, который может меня задеть. Я не хочу, чтобы кто-нибудь привязался ко мне навсегда, как и сам не хочу привязываться к кому бы то ни было. Я хочу встречать много разных людей, чтобы

каждый из них раскрыл мне какую-нибудь сторону моего я. Если я буду все время с кем-нибудь одним, то передо мной откроется только одна сторона, и я натру себе рану, как лошадь упряжью.

Моя мечта — вещь очень точная, как всякая мечта. Это — жизнь. Жить! Жить в безвестности! Самое важное — это существовать. И для этого лучше всего оставаться неизвестным.

Если я и начал осуществлять свою настоящую жизнь, свою мечту, то это только потому, что я замкнулся в одиночестве. Для меня быть одиноким — значит быть затерянным в толпе. Навеки остаться безвестным, всеми забытым.

Только так можно узнать подлинную, обнаженную жизнь, как она есть на самом деле. Без обмана. Я не хочу, чтобы меня знали, ибо окружающие могут плохо понять меня. Лучше пусть обо мне ничего не знают, чем знают ошибочно. Лучше пусть меня не знают вовсе, чем знают мало. Я содрогаюсь от ужаса, когда думаю о славе, о ее разрушительных иллюзиях.

Я не хочу ни семьи, ни забот о работе и о деньгах. У меня нет никакого тщеславия. Я не хочу никакой будущности. Если у меня хватит мужества жить безвестным, я буду жить.

Но чем именно я буду? Я не представляю ничего выдающегося. Средний человек, который сам для себя является сосредоточием всего мира, так как богов, которые обратили бы на него внимание, нет.

Я не воплощаю мысли или мечты, я не создан для того, чтобы освещать дорогу людям. Но я человек из плоти и костей. И раньше всего из плоти.

Очень хорошо, что я гол, что у меня нет денег — одна единственная рубашка. Я работаю, у меня есть руки и ноги, я ем, пью, сплю.

Впоследствии, я заинтересуюсь и общественной деятельностью. Уже и теперь мало-по-малу я заинтересовываюсь окружающей меня жизнью. Мое пребывание среди этих людей становится заметно. О, я начинаю верить в благость молитвы, в причастие, в воскресение добра! Чем меньше меня знают, тем лучше мне среди людей, тем луч-

ше они меня чувствуют. В конце концов они находятся под моим влиянием. Это даже становится неловко: на меня все смотрят, надо уходить. И этим доказано, что я не только живой человек из плоти и кости, рабочий, но и активный вожак, представитель социальных сил.

Моя обособленность — это особый, тонкий путь к влиянию.

Или я ошибаюсь? Разве я уклоняюсь от работы? Я слишком утончен, мне все слишком противно, но свое дело я делаю. Я даже дал своим родным ложный адрес, указал неверный номер участка, как ни жестоко это с моей стороны. Поэтому я нищ. Я ведь ниоткуда не получаю писем. Быть может, это мой монашеский искус.

Временами эта жизнь кажется мне интересной. Это бывает не всегда. Но если ощущения мои и противоречивы, то они дополняют друг друга. Это доказывает что я нашел свою правду. Быть бедным — значит быть грязным. Я покрыт вшами. Они жиреют от покрывающей меня грязи. У меня на руках мозоли от работы. Мускулы болят. Меня беспрестанно мучает жажда. Голова у меня острижена под машинку, а борода выросла,— я уродлив. Я ни от кого не получаю писем. Я умру в полной безвестности. Моя смерть не будет никем замечена. Она не нарушит молчания. Говорить будут о моем генерале. Испытания, на которые я обрек себя, не притворство. Они останутся неизменны. Таково мое правило. Оно неудобно не только для меня одного.

Выйдя из палатки, я оказываюсь на склоне горы. Мой взгляд теряется среди гор, окружающих огромный залив. На склонах гор расположилась армия. В заливе стоит флот. Вот неужели в этом — жизнь человечества? Разве для этого люди из века в век бороздили землю?

Мовье — один из моих уголовных — протягивает мне кружку. Кофе плохой, но зато горячий. Он бодрит. Без него нам бы не удалось победить сонливость. Я стою на холме, среди своих, однополчан. Я без куртки, мускулы мои напряжены. У меня грязные ногти. Раздаются звуки утренней зори. Полк вытряхивает свои грязные рубахи. Немалых усилий стоило нам разбить здесь террасы; во вре-

мя этих работ я научился пить бутылками тяжелое алжирское вино. Вдоль террас вытянулись роты.

Солнце уже изрядно греет. Легкий пар подымается с моря. Вдали, над голыми черными холмами, тенью проносятся несколько маленьких, белых избушек.

— Неужели кто-нибудь живет здесь по своей доброй воле?— спрашивает Ле-Сенешаль. Ему не по себе от этого унылого пейзажа.

— Кто они, отшельники, что ли?

— Нет, просто бездельники.

Ле-Сенешаль не любит здешних черных людей, все они слишком худы или чересчур жирны по сравнению с тем, к чему он привык у себя на родине.

Заботы о туалете отнимают у меня очень мало времени. Умыться — нельзя. Даже зубы почистить не удается — так мало воды доставляют нам из колодца, находящегося у подножия холма.

У меня расстройство желудка,— мы питаемся только консервами или мороженым мясом.

На наших узких террасах не хватает места. К рапорту роты выстраиваются не в карре, а по четыре в ряд, один позади другого.

Я замещаю фельдфебеля и делаю перекличку. Я — единственный сержант во взводе: старый корсиканец уже в госпитале.

— Камье!

Камье — это мой мрачный уголовный. Его нет. Солдаты недовольно качают головами и посматривают на меня. Справляться с этим Камье становится все труднее. Придется внести его в список отсутствующих.

Подходит Пьетро.

— Не записывай его! Он скоро придет. Он был вчера вечером выпивши, и нам пришлось оставить его внизу, в долине.

Очевидно капрал дал о нем ложные сведения во вчерашней сводке.

— Я пойду за ним,— обещает Пьетро.— Он, должно быть, дрыхнет где-нибудь в уголочке. Если ты его запишешь, то после всех историй, которые уже имеются за ним...

Пьетро говорит все это с унылым видом. Я прекрасно знаю, что он меня не любит. Но он рассчитывает все же на мою доброту. Ничего не поделаешь, у меня не хватит характера отказать.

Придется покрыть Камье.

— В третьем взводе все налицо! — докладываю я лейтенанту.

Он смотрит на меня так, точно знает, что я вру. Вероятно, он уже подозревает, что у меня во взводе неладно.

Уже не раз бывали истории с этими перекличками. Я ведь и сам уходил с Пьетро и Мюрэ в английский лагерь.

Так как моя семья не знает, где я, я ничего не получаю из дому. Приходится как-нибудь раздобывать деньги, чтобы пополнять рацион и продолжать попойки, начатые еще в Марселе. Мы обычно уходили за этим к англичанам. Они наивны и страшно любят смеяться. Я рассказывал им что-нибудь. Пьетро делал клоунские трюки, а Мюрэ и Камье показывали атлетические номера. Затем мы без зазрения совести собирали монеты, пропивали их и возвращались в лагерь пьяные, с опозданием, пробираясь между палаток на четвереньках.

Фельдфебель закрывал глаза на это.

... Все-таки жизнь солдата стала спокойней, чем вначале, когда на острове еще не были запрещены спиртные напитки. Как ярко рисуется мне этот памятный первый проведенный здесь вечер. Мы только что разбили лагерь. Я с двумя товарищами после переклички решил отправиться посмотреть, что это там за городишко в долине.

Но едва мы успели туда добраться, дело приняло неожиданный оборот. По улицам слонялись пьяные банды всех национальностей мира. Даже старый порт в Марселе в тот вечер, когда там высадились экипажи тридцати английских угольщиков, сделавших чорт знает какой крюк по Южной Атлантике, потускнел бы рядом с этой деревушкой.

Здесь шатались и англичане, которые страшно пьют, и шотландцы, которые пьют еще страшнее, и русские, которые пьют, как бездонные бочки, и австралийцы, у которых всегда жжет в глотке, и французы, которые тоже мастера выпить, и много еще других пьяниц.

В этот день стояла несносная жара. Любители выпивки толпились в греческих кабачках. Обслужить всех там не успевали.

— Эй ты, папаша! Ты что, не успел еще вылечиться от желтухи? Если меня заставят ждать, я налью себе сам.

Дельпланк схватил литр с прилавка.

— У него не будет сдачи,— сказал он мне, отводя мою руку,— не стоит платить.

Те же настроения охватили в этот вечер десятки шутников. Идея понравилась. Можно брать, что понравится, не платя.

Спустя четверть часа все кабаки оказались разгромлены. Пьяные банды слонялись по улицам с пением, руганью и ссорами. Во всех углах затевались драки.

Греки в отчаянии забаррикадировались за прилавками.

Я с двумя приятелями успел побывать повсюду. Я познакомился с каким-то шотландцем, который, широко расставив ноги и закинув голову, лил в себя из литровки самосское вино.

Этот новый знакомый предложил нам допить то, что осталось в бутылке, и сразу же заявил, что он презирает англичан; подошел какой-то австралиец и прибавил еще что-то нелестное об англичанах. Эти два человека посочувствовали друг другу. Через минуту они подрались. Дельпланк взял сторону шотландца и разбил бутылку о голову австралийца. Мы пошли дальше. Нас позвали на помощь двое английских моряков. Они воевали с ослом, который отбился от своего хозяина, грека. Из двух дырявых корзин, которыми он был навьючен, рассыпались апельсины. Мовье посоветовал было Дельпланку изъять осла из ведения иностранного флота; все равно осел не сможет итти по ухабистой мостовой.

Но Дельпланк заявил, что широкие штаны могут не беспокоиться. Он, Дельпланк, знает хозяина осла и вернет ему его собственность. Оба матроса флота его величества мгновенно умилились при мысли, что бедное животное будет возвращено в лоно семьи.

По этому поводу пришлось выпить, чтобы вместе отпраздновать это радостное событие.

Деревня кружилась, как в вихре. Улицы наскакивали одна на другую и возвращались на свои места. Улицы то приветствовали, то оскорбляли одна другую и поворачивались друг к дружке спиной. Кафэ оказались на улицах, а улицы забрались в кафэ. Солдаты теряли свою национальность и принимали другую. Какой-то французский артиллерист надел шотландскую шапочку. Это побудило его сжимать в объятиях какого-то бессмысленно хохотавшего египтянина; русские были мертвецки пьяны. Австралийцы выражали злость по адресу британской полиции. Их поддерживали зуавы, объявившие себя врагами законов.

Греков презирали, о них забыли. Впрочем, их уже не было, они куда-то исчезли.

Я закинул голову в небо и славил звезды, озарявшие мое веселье. Нам действительно было весело,— в кои-то веки удается покуражиться по-настоящему.

Но сенегальцы — мусульмане. Они пьют только воду. Патруль сенегальцев окружил нас. Подгоняя нас прикладами и подбадривая штыками, сенегальцы быстро очистили городишко от шатающихся и горланящих гостей. Мы были отброшены к холмам и ползком на брюхе, кое-как добрались до своих палаток.

— Ваш взвод назначен в караул при главной квартире! Мы сменяем англичан.

Англичане и французы на острове были объединены под одним командованием.

Английскому адмиралу посылали поочередно то английский, то французский караул.

Воображаю, как на нас будут глядеть англичане!

Что будет, однако, с Камье? Если он вернется не скоро, его отсутствие будет обнаружено при отправке караула.

Глаза всего взвода были устремлены на меня. До сих пор мое поведение в общем одобряли. Но вот уже несколько дней, как доверие ко мне заколебалось: им кажется, что я боюсь Камье.

Смена караула назначена на четыре часа,— время еще

есть. Сейчас — семь утра. Надо отправиться в город: можно заявить, что я иду за покупками.

Я ведь заведую унтер-офицерской кухней в роте.

Я беру с собой поваров, Мовье и Дельпланка. Мы спускаемся по тропинке с террасы на террасу, из роты в роту.

Ох, уж эта мне французская армия! Эти грубые голубые шинели, эти белые каски, чищенные перекисью марганца в подражание англичанам. Щеголяем вроде как в 1914 году, когда мы франтили в красных штанах, поверх которых были надеты синие парусиновые чехлы. Теперь сказывается то же самое: запоздалое и неумелое приспособление к событиям, к неприятелю, к союзникам.

Дорога запружена арбами, грузовиками, мулами, лошадьми, повозками; все спешат в город за покупками. Придется пересечь весь город, чтобы добраться до главной квартиры.

Как убого выглядит днем греческое местечко: низенькие мазанки из глины или камня, покрытого грубой известью. Греки не покинули насиженных мест. Они не испугались набега разношерстной солдатни. Они стали лишь торговать не спиртом, а бакалейными товарами. Впрочем, из-под полы они торгуют и спиртом. После недавних событий к ним снова вернулось спокойствие. Они стараются наживаться на нас сколько только можно.

Египтяне, сенегальцы, австралийцы, зеландцы, шотландцы — все здесь. Есть здесь и русские матросы, и греки из иностранного легиона, и алжирцы. Арийцы смешались с семитами. Полицейские здесь греческие, а власть принадлежит англичанам и французам. Можно сколько угодно чувствовать себя французом, но надо привыкать жить со всем миром.

Я захожу в консервную лавку и покупаю консервы, то, другое. Я торгуюсь, держа в руках список. Дельпланк стоит рядом. Что за чорт? — Я вижу, что Мовье держит свой вещевой мешок и рассеянно смотрит на витрину. Вдруг целая пачка сырков-камамбер бесследно исчезает. Грек пьян от жадности. Он старается надуть меня и не замечает, что его обворовывают.

— Паршивец, — говорит Мовье, когда мы выходим.

— Это экспроприация индивидуальная,— неопределенно замечаю я.

Но Мовье не знает этих слов.

Мы переходим из одного магазина в другой, утопая в пыли. Мы решаем сделать передышку в маленьком кафэ, где всегда можно встретить несколько зуавов и греков в широких черных штанах. Они перебирают четки и курят кальян. Их неподвижность смущает даже самых отъявленных из наших лодырей.

В заднем помещении кафэ можно потихоньку выпить рюмку анисовой.

Мы возвратились удовлетворенные и навеселе, и я сел завтракать вместе с унтер-офицерами, хотя обычно я с ними дружбу не веду. Офицеров я и вовсе игнорирую. Они посматривают на меня с беспокойным любопытством. Они знают, что я сам не пожелал быть произведенным в офицеры.

Среди батальонных унтеров есть любопытные типы: ведь с некоторых пор на военную службу стали брать не только уголовных, но и политических. У нас есть два-три синдикалиста из союза строителей. Все это люди крепкие, боевые, но они не в восторге оттого, что попали на фронт. Они держатся особняком, как бы сторонясь остальной солдатской массы. Это до некоторой степени сближает меня с ними.

Меня тянет к ним, хоть я их и побаиваюсь. Они знают, что я — весь до ногтей — буржуа, но все же видят во мне человека. Сложность моего характера смущает их. Они чувствуют во мне патриота, человека, одержимого гордостью, которая им враждебна. Но в то же время они видят, что враждебно отношусь я и к офицерам, к армии. Я скрытен, но меня считают хорошим товарищем. Они — вспыльчивы, обидчивы. Чувствуется, что они размышляют, страдают, что они люди сложной психики.

Они недовольны пищей. Нам дают только овощи и мороженое мясо,— это первое, на что обычно жалуются и рабочие и крестьяне. Я на это не жалуюсь, хотя страдаю от этого больше, чем они.

— Англичан кормят лучше.

— Ты-то знаешь, ты ведь был у них.

Да, я у них был. И с каким удовольствием! Мне бы надо было родиться англичанином. Это одно из тех детских мечтаний, которые хранишь до конца дней.

— Нет, у них паршиво.

— Почему? — спрашиваю я.

Они смотрят на меня, не зная, что ответить.

— Англия,— говорю я,— богаче Франции, однако...

Я останавливаюсь. Было бы слишком долго объяснять им причины французской скаредности, в которой мы все повинны.

Я слежу за тем, как они едят. У них грубые манеры. Так едят и многие буржуа, но эти люди сохранили все же гораздо больше душевной тонкости, чем многие буржуа.

Они чувствуют на себе мой взгляд и видят, что я ем не так, как они, и что я стараюсь подражать им. Мы стесняем друг друга. Какая-то точная, неуловимая, но прочная преграда разделяет нас друг от друга.

Хотел ли бы я ее разрушить? Мне одинаково противно, когда говорят, что преграда эта незыблема, и когда ее вовсе отрицают. Я совмещаю в себе мелкого буржуа и аристократа.

Наша беседа переходит на темы войны. Мы все понимаем, что нас снова надули. Эта экспедиция не удалась. До Константинополя далеко, и мы никогда не попадем туда. Французские газеты врут в каждой строке. Флот должен был нам помочь, но он заперт подводными лодками и стоит в бухте.

Вероятно, газеты врут и в сообщениях о наступлении, которое будто бы начинается во Франции.

— Нас побили, надо подписывать мир,— говорит один из синдикалистов.

— Если бы это зависело от тебя, ты бы не подписал,— хмуро говорю я.

— Еще как! — отвечает синдикалист.

Я смотрю ему в глаза,— он лжет. Мы все лжем. Я беспрерывно лгу. Лгу, когда скрываю свой патриотизм, но он бьет из меня, хоть это противоречит всему моему поведению. В глубине души я хотел бы, чтобы спасал отечество кто-нибудь другой вместо меня. Я пришел сюда не как патриот, а как утонченный буржуа, жаждущий ощу-

щений. Я пришел к народу путями вывернутого наизнанку, неузнаваемого, молчаливого и чопорного романтизма.

Так же точно лгу я и тогда, когда бываю мил и любезен с ними. Мое тайное стремление к бедности и унижению не имеет ничего общего с их настроениями.

Я пристально смотрю на залив, окаймленный легкими горами. Природа дороже мне, чем живые люди.

В иной буржуазной среде, среди богатых и аристократов, я тоже кажусь необычным. Как много перегородок разделяет общество. Я — средний, либерально настроенный буржуа. Я принадлежу к тонкой прослойке между другими классами.

Я поднимаюсь и ухожу к рядовым. Их я люблю больше, чем унтеров.

Однако приближается время смены караула.

Камье все еще нет.

Пьетро ушел на поиски и вернулся без успеха:

— Не нашел.

Я уверен, что он врет.

— Ты что, смеешься надо мной? Ступай, побрейся!

Как я ни стараюсь, чтобы солдаты были в приличном виде, ничего не получается.

Пьетро бросает на меня полный ненависти взгляд. Он понимает, что его хитрости не помогут ему прикрыть Камье, которому теперь-то уж непременно достанется.

У меня настроение портится.

Проходит фельдфебель.

— Сбор караула. К капитану!

Взвод с грехом пополам выстраивается на ухабистой тропинке впереди палаток, путаясь ногами в колышках и скрепах. Я выступаю впереди взвода. Вид у меня мрачный. Солдаты не сводят с меня глаз.

Я смотрю то на солдат, то на пейзаж. Пейзаж красив, а солдаты грязны. Я рассеян и не умею сосредоточиться. Вероятно, я никогда не создам шедевра. Если мой взвод, например, и шедевр, то только в отрицательном смысле.

Лейтенант приходит раньше капитана и приказывает сделать перекличку.

— Камье!

Молчание.

Солдаты смотрят на меня с облегчением: «Ну, теперь брось его. Это будет по заслугам! Он — паршивец».

Я поворачиваюсь к лейтенанту.

— У Камье дизентерия. Он отлучился в уборную.

Дрожь пробежала по взводу.

— Здорово двинул сержант. Не боится. А ведь Камье, тот, пожалуй, в эту минуту сидит где-нибудь под арестом за публичное буйство. То-то будет история, когда его приведут под конвоем!

Солдаты привыкли ждать от меня неожиданностей и всегда прощают мне мои причуды.

Но все же они меня не оправдывают. Они не любят Камье, да и вообще так много возиться с рядовыми — это годится для капрала, а не для унтер-офицера. Они как будто даже ревнуют меня. Я слишком много делаю для этого Камье.

Капитан так и не является, а лейтенант уходит.

Ле-Сенешаль — крестьянин и любит уголовных еще меньше, чем все остальные. Он говорит мне:

— Вся эта история плохо кончится. Камье — паршивец. Он создан для тюрьмы. Ты его все равно не переделаешь. Они неблагодарны, эта порода. Чем будешь ты добрей, тем больше он будет платить тебе ненавистью.

Но оба уголовных одобряют мой метод. Они чувствуют, что их обязанность — помочь мне, иначе все дело сорвется. Переглянувшись со мной, они направляются к Пьетро и о чем-то с ним совещаются.

Очевидно, эти молодцы вплотную подступили к Пьетро. Он даже побледнел. Я смотрю на залив. Сейчас три часа. Броненосцы стоят неподвижно, как плавучие заводы. Горы в отдалении похожи на старых богинь, погибающих в ссылке. Мовье подходит ко мне и говорит:

— Будь спокоен. Когда сменим караул, мы с Дельпланком сами пойдем за ним и быстро доставим. Не бойся. Он — уголовный, и мы тоже, но мы понимаем. Это нечестно — так поступать с тобой.

Взвод благополучно тронулся. Жарко. Трудно передвигаться с полной выкладкой, в шинели и в тяжелой каске, которая не защищает затылок. Мы приходим в главную

квартиру. Она расположена на небольшой возвышенности. Лейтенант шагает впереди.

— Шагом марш,— командует он.

Мы сменяем шотландцев. Я взволнованно смотрю на их безупречный вид.

Сейчас нас построят лицом к лицу против них.

Ого! Вот она, власть, власть французская лицом к лицу с британской властью.

Неутешительное сопоставление.

С одной стороны, тридцать воинов, с другой — тридцать обозных.

С одной стороны, цивилизация дикарей, сохранившая кое-что от прошлого, но приспособившаяся к современной жизни. А с другой стороны — тридцать... ну, как бы сказать?.. поскребышей. Это уж не цивилизация дикарей, а крестьянские навыки в мелкобуржуазном рассоле.

Что это за солдаты? Кто они, эти люди, стоящие на солнцепеке? Они все в тяжелых голубых шинелях, пригодных только в Европе, в тяжелых, массивных, загаженных шлемах. Что за громадные ранцы в стиле XIX столетия?! Как они неряшливы! Один потерял галстук, у другого развязалась обмотка. Мюрэ слишком громаден, Пьетро слишком мал.

А напротив нас стоят тридцать шотландцев в коротких древних юбочках, с голыми коленями. На них удобные каски, их холщевые куртки и все их снаряжение чрезвычайно удобно. Их движения свободны, то есть аристократичны, и это делает их изящными и похожими на офицеров. У них гордый вид. Это — люди! А мы — только сброд! Конечно, у нас есть внутренняя сила, есть самосознание. Каждый из нас умеет принимать жизнь по-своему. Мы расчетливы и экономны. Но мы оказываем миру лишь слабое сопротивление.

Так-то так! Но выглядим мы отвратительно, так отвратительно, что я, сержант, испытываю тошноту. Тяжелые сомнения охватывают меня.

Смена караула продолжается. Шотландцы танцуют. Они выделывают всевозможные штуки и ногами и ружьями. Они и подтянуты, и гибки, и горды, и веселы одновременно.

Мои тридцать типов, тридцать дворников смотрят на них, выпучив глаза, как на дикарей.

— Служба им нравится! — думают с изумлением мои солдаты.

Наконец, они тоже становятся смирно и беспорядочно берут на-караул. Пьетро по обыкновению делает это на четверть часа позже других.

Мне эти шотландцы ближе, чем мои нормандцы. Я раздваиваюсь и все больше чувствую себя созерцателем, а не действующим лицом. Внезапно бешенство охватывает меня. Это не мои солдаты. Я их не выбирал. Такой человек, как я, должен выбирать,— ему ничего нельзя навязывать. Я вспоминаю, что года за два, за три до войны я мечтал поступить на английскую военную службу. Есть такая категория интеллигентных искателей приключений, которые вечно носятся по свету. В числе этих скитальцев бывают и воины, и священники. Мои солдаты совершенно равнодушны к тому презрению, какое питают к ним шотландцы, да и я сам. Они знать не хотят об этом. Для них это все — только часть общего безумия войны.

Шотландцы уходят. Мои солдаты сразу распускаются. Ле-Сенешаль подходит ко мне. Он один угадал мои мысли.

— Молодцы эти ребята. Только немного похожи на присдугу.

Мы расположились в караульном помещении. Это — две конические палатки, поставленные поблизости от деревянного барака, где жил английский адмирал.

Ко мне подошел Мовье:

— Мы с Дельпланком на пять минут исчезнем, разыщем Камье и сейчас же доставим его тебе.

— Ступайте.

Я уже начал беспокоиться. А что, если верх возьмет Камье и втянет их обоих в историю? Мой взвод таял. Мне грозил перевод в рядовые.

Спасибо, море и бухта были на месте. И мое понимание событий.

Отсутствие моих молодчиков затягивалось.

Мне пришла в голову мысль, которая обрадовала меня еще больше, чем зрелище этих греческих или союзных кораблей на виду у Трои: меня разжалуют. Давно пора

было сделать это. Я буду рядовым, я еще лучше затеряюсь в толпе, еще больше буду предоставлен самому себе и еще больше стану работать собственными руками.

Но вот я вижу, как, крадучись, приближаются три человека. Это мои молодцы.

У Камье рожа, как у выходца с того света. Он, видимо, напился, как свинья, и еще не успел опохмелиться. Он весь в синяках и кровоподтеках. Его шинель загажена. Он, видно, дрался и катался в грязи.

— Встать смирно!

Он не совсем знает, как ему себя держать. Вид у него угрюмый и мрачный. Опять мне придется распутывать узел!

Я делаю всем троим знак итти в палатку. Там уже находятся Ле-Сенешаль, Пьетро и еще несколько норманд-цев. У меня торжественный вид. Все смотрят на меня исподлобья.

— Вы, очевидно, принимаете меня за дурачка,— начинаю я.— Но я хорошо знаю, что делаю. Я не сержант, я просто человек, такой же, как вы. Я связан с вами. Вам нужен такой тип, как я, иначе вам не избежать беды. Я не хочу применять наказаний и никогда не стану делать этого. Если бы я мог, я бы разбил вам морду при случае. А тебе-то, Камье, я давно должен был бы набить морду. Но я этого не могу, я недостаточно силен, и кроме того это не в моих привычках. Я не буду ни назначать тебе наказаний, ни бить тебе морду. Так и знай. Я сдаюсь на твою милость. Вы меня поняли. Ле-Сенешаль и Минэ поймут меня. Они ведь были со мной в Шампани. А ты не понял. Я хочу, чтобы ты одумался. Я не хочу, чтобы тебя отправили в тюрьму.

— Да уж ладно! Я свалял дурака! Я ведь понимаю...

Он говорил с трудом.

— Ты хорошо понял? Все вы поняли? У нас все должно быть по-товарищески, не как в других взводах. Но тебя я в последний раз выручаю из беды. Других я и впредь буду выручать. Но ты мне осточертел. Если ты не можешь ладить со мной,— скажи.

— С таким сержантом...— начал Мовье.

— Ты молчи. Пусть отвечает Камье.

Он смотрит на меня и колеблется.

— Ошибка может случиться со всяким. Но ты весь день сидишь у меня вот где. Я не подам тебе руки. Только когда ты докажешь, что понял все, что я сказал, я подам тебе руку. Можешь соснуть часок, а потом сменишь Пэнэна. Он стоит в карауле вместо тебя.

Я выхожу. Ребята довольны. Но я-то сам, я недоволен собой. Это не то. Я злюсь на Камье за то, что не в силах разбить ему морду. Оттого, что я не могу избить этого человека, мне не по себе. Я хитрю, занимаюсь демагогией. Это мне противно. Я даже не могу больше любоваться морем. Немного спустя ко мне подходит Ле-Сенешаль.

— Они его вздули.

Тогда я успокаиваюсь. Но все же я — плохой сержант. Я оказываюсь вроде офицера, у которого есть свои сержанты. Тогда почему уж прямо не пойти в офицеры? Но мои молодцы теперь будут у меня в руках, и я буду более свободен.

## VI

Нас переводят в тыл. Но в этом тылу все обстоит так же, как и на фронте: нас бомбардируют и в лоб, и с флангов. Турки занимают весь район Трои и оттуда засыпают нас тяжелыми снарядами.

Прошло три тысячи лет со времени осады Трои, но ничего с тех пор не переменилось.

На обед мы располагаемся в ложбине. Проклятая страна. Эта пустыня создана для паршивцев. Здесь ничего нет — злая, пересохшая земля и булыжники на холмах. Здесь уже, видно, немало поработали и турки, и немцы.

С немцами мы надеялись больше не встречаться, между тем их и здесь сколько хочешь. Они из кожи вон лезут, чтобы заставить турок воевать поэнергичнее, хотя те и сами не зевают. Скудная земля, потерянный край. Мерзкая дыра. До Константинополя-то, оказывается, далеко. С того самого дня, как мы здесь высадились, мы прекрасно знаем, что в Константинополь не попадем никогда. Мы вообще никуда не попадем.

Там, на верху, умеют обделывать дела. Они не могли

придумать ничего лучше, как высадить нас здесь, на краю полуострова. Наше назначение — сопровождать по суше флот, который пойдет морем, вдоль побережья, и пушками в 380 миллиметров будет разрушать все на нашем пути. Этак потихоньку да полегоньку мы будем теснить турка, пока не дойдем до Константинополя. Но вместо того, чтобы взорвать турецкие форты, броненосцы в первый же день сами взлетели на воздух. Босфор оказался заполненным множеством мин и даже немецких подводных лодок.

Французские и английские броненосцы поторопились удрать. Нас оставили одних на этом полуострове, который вдоль и поперек утыкан солиднейшими укреплениями. Первые линии мы взяли, но дальше не удается продвинуться ни на одну пядь,— скорее мы отступим. Мы здорово попались. Тыла здесь нет: нас с утра до вечера и с вечера да утра бомбардируют и в лоб и с флангов.

Время от времени нас ведут в атаку,— просто для практики. Когда выступают англичане, мы не двигаемся с места. Когда выступаем мы, англичане также сидят на месте с мечтательным видом. Неважно держат себя у нас и сенегальцы, и зуавы из запаса. Мы смотрим друг на друга вопросительно: дадут ли нам передохнуть после последних двух недель ужаса? После великого отступления 1914 г. и Шампани это был третий кошмар, пережитый мною. Он состоит из жары, жажды, разлагающихся трупов, назойливой бомбардировки и дизентерии. Это сгущенное и модернизованное повторение крымской кампании 1855 года. Мы опять хорошенько попались. И, вероятно, это не в последний раз.

Хватили мы лиха. Во взводе убито немало нормандцев. Но еще жив фельдфебель, и вернулся второй сержант, корсиканец. Бедняга отощал. У него обалделый вид.

Есть у нас еще и парижане. Мюрэ отправлен в тыл,— у него появилась какая-то подозрительная язва на икрах.

Едва мы немного успокоились в этой ложбине, вдруг — тревога. Во втором батальоне прорыв — надо немедленно итти в контратаку. Мы запихиваем мясо и картошку в вещевые мешки и выступаем.

Мы продвигаемся вперед по открытой местности, жестоко обстреливаемой из пулеметов. Идем гуськом.

У меня понос. Всю войну он преследует меня. Мы передвигаемся вперебежку, по правилам. Я пользуюсь каждой остановкой, чтобы остановиться в кустах. Я нахожусь во главе колонны. Всякий раз, когда другие ложатся, я остаюсь в сидячем положении. Взвод видит, какие особые трудности я переношу, помимо общих. Впрочем, еще двое или трое находятся в таком же положении. Несколько человек по случаю дизентерии уже эвакуированы.

Мы попадаем в ходы сообщений, которые мы сами рыли, обливаясь потом, неделю назад. Они грязны и забиты теми жуткими отбросами, которые скопляются вевде, где ступила война. Коробки консервов, оторванные руки, ружья, ранцы, ящики, сломанные ноги, испражнения, головки снарядов, гранаты, тряпки и даже бумага — все валяется здесь. Надо все-таки отбить ее, эту траншею. Как мы орали третьего дня на зуавоз, когда они сдали две линии.

Стоп! Турки, оказывается, успели перегородить ходы сообщения. Мы стоим у последнего поворота. Я иду к самому краю. Ребята из второго батальона говорят, что имеют пулемет, но его подбил наш же снаряд 75-го калибра. Второй батальон еще не плох, он больше испугался, чем пострадал. Удар был классический: турки кинулись в атаку тотчас же после смены. Так делалось и в Шампани в 1915 году. Им приказано перегруппироваться на нашем левом фланге. Они идут по склону горы, по неглубокому поперечному окопу. Мы без удовольствия смотрим, как они ползком удаляются.

Мы получаем приказание сию же минуту безо всяких разговоров кинуться в атаку. Правда, 75-й и 120-й калибры здорово бьют турок.

Наши сидят в ходе сообщений, идущем перпендикулярно окопу. Им не очень хочется выйти на открытое место и в стрелковой цепи двинуться на траншею. Если судить по огню, который оттуда время от времени открывают по нас, там еще сидит немало турок с пулеметами.

Нам орут сзади, что надо выходить и разбиться в цепь. Но мы не двигаемся. Во взводе что-то неладно. Ребята невзлюбили нового лейтенанта. Он стоит в тылу и орет, как чорт.

— Ладно! Пускай он выходит! Пусть он выйдет пер-

вым,— кричит чей-то голос.— Если он выйдет, тогда и мы выйдем.

Капитан был убит в первый же день, а лейтенант ранен. Теперь ротой командует лейтенант из фельдфебелей — казарменная шкура, собака! Он прятался со времени отступления из Шарлеруа, устроившись инструктором новобранцев 14-го года. У него трясутся поджилки, но наглости у него сколько угодно. Ребята готовы прикончить его. Больше всего надо опасаться молчаливого Камье. Я все больше вижу, что самое главное в жизни — не упустить момента. Нельзя терять ни минуты. Если солдаты задержатся еще хоть немного, они уже не смогут выйти в атаку, и мы линию потеряем. Через неделю, когда турки хорошенько ее укрепят, надо будет положить тысячу человек — черных, смуглых и белых, чтобы отобрать ее. Впрочем, в конце-то концов нас все равно столкнут в море.

Во мне все же жив солдат. Что движет мной? Старое усердие? Нет,— просто привычка. Я не могу видеть плохую работу. Я или ухожу, или берусь за дело всерьез.

Меня задержал мой понос. Но затем, расталкивая ребят, я стал продвигаться, чтобы найти лейтенанта. Этот маленький бешеный человечек, потеющий от страха, ненавидит всех нас.

— Люди выйдут только, если вы выйдете первым и пойдете впереди,— говорю я.— Мы, сержанты и капралы, мы двинемся сразу же, как только вы встанете во главе. Выходите, и тогда дело пойдет.

Я смотрю ему прямо в глаза.

— Приказание отдано, они должны исполнять.

— Чтобы исполнять, нужен пример. Если вы не выйдете, мы просидим здесь до завтрашнего утра.

— Вы не имеете права приказывать мне,— пробормотал он.

Я ничего не отвечаю и продолжаю в упор смотреть на него. Ле-Сенешаль тоже смотрит на него, не отрывая глаз и пожимает плечами.

Тогда я, чтобы пристыдить лейтенанта, сам карабкаюсь на поверхность. Ле-Сенешаль приходит в бешенство и орет:

— Не давай себя убить из-за этого труса. Слезай, сержант!

О чем думал я в эту минуту? Если я полез, то мне, видно, в самом деле охота подохнуть, и я, очевидно, подохну здесь. Но я уже был возбужден. Не всегда делаешь то, что хочешь.

Свистят пули. Страшный вой заставил меня спрыгнуть в яму. Это был снаряд. По счастью, он не разорвался, иначе со мной было бы кончено. Ле-Сенешаль ругается, как сумасшедший.

— Сто чертей! Тысяча чертей! Вот беда-то какая! Вот беда!

Лейтенант смотрит на меня безумными глазами. Душа его корчится в брюхе и не дает ему вылезть. Но Ле-Сенешаль и Мовье внезапно хватают его и перебрасывают Дельпланку. Тот в свою очередь спихивает его парню, стоящему впереди. Мой герой летит из рук в руки, и вот он в голове отряда. Я вижу, как он внезапно вылезает из окопа, точно взвод изрыгнул его. Мой коллега корсиканец взбирается наверх. Весь взвод лезет за нами. Откуда-то, точно из глубины веков, донесся сигнал горниста. Мы пошли.

Турки, вместо того чтобы перебить нас, уносят ноги. Мы добегаем до траншеи. Три или четыре раненых оборванца испускают гнусавые крики, но быстро, как подобает добрым мусульманам, смолкают при виде нашего оружия. Этот негодяй Камье убивает одного из них. Ле-Сенешаль не дал ему убить остальных.

Мы стреляем в турок. Они удирают и скрываются в своей старой траншее. Тотчас наша стрельба стихает. Только пулеметчики, продвинувшиеся на левом фланге, продолжают поливать участок.

Все вошло в норму. Мы располагаемся. Перекличка. Лейтенанта нет. Инстинктивно я взглянул на Камье. Он смотрит на меня ничего не видящим взглядом. Его злые, яростные глаза лезут на лоб. Ну, конечно, это он убийца. Сомневаться не приходится. Мы обмениваемся взглядом с ле-Сенешалем. Мовье и Дельпланк с удовольствием берутся за свою работу: они стрелки, они развлекаются, как при стрельбе в цель, и соревнуются в количестве очков. Пьетро поспевает за нами с нарочитой торопливостью циркача. Минэ удачно бросил гранату. Вот силач!

Ружья он не любит: оно слишком напоминает ему казарму. Тишина и ночь спускаются на нас, прикрывают собой нашу землю, нашу судьбу.

Эта траншея существует всего две недели, но она уже стара, как мир. Холмы завалены гнусными отбросами, разлагающимися телами. Что это — бойня или свалка?

В траншее еще остался запах турок.

Фельдфебель ничем не успел отличиться в деле. Его роль осталась незаметна. Он грустно смотрит вдаль. Он все время думает о своей жене. Она у него богатая.

Стреляют. Турки вернулись к себе в траншею и взялись за стрельбу.

Мне все же любопытно знать, что произошло с лейтенантом. Я углубляюсь в ходы сообщения, и ищу его. Вижу, лежит тело, но я не могу узнать, он ли это. Ле-Сенешаль, как всегда, угадывает мою мысль. Он отправляется ползком. Его долго нет. Наконец, он возвращается.

— Ну, что?

— Пуля в спине! Конечно, это Камье! Однако тут что-то странное.

Ротная касса, несколько стофранковых билетов, измятые, изорванные в клочья, валяются вокруг убитого.

— Со страху это он, что ли? — бормочет ле-Сенешаль.

Я возвращаюсь в траншею. Камье смотрит на меня исподлобья. Он понимает, что между нами все кончено. Я чувствую, что теперь он распустится и еще наделает много бед.

Мы жрем простывшее мясо, сидя рядом с тремя турецкими трупами, уже успевшими распухнуть. Мы запиваем еду протухшей водой. О, этот запах, идущий из моей баклаги. Все в нем перемешалось: ржавая жесть, гнилая пробка, прокисшее вино и тиф.

Еще тепло. Турецкая артиллерия успокоилась и с азиатской и с европейской стороны. Лишь изредка с азиатской стороны выпускают тяжелые снаряды, но они попадают справа от нас, в ложбину.

Внезапно я замечаю, что эта ложбина угрожает нашей позиции. Я спрашиваю фельдфебеля, каково его мнение. У него нет никакого мнения.

Мы взяты на прицел, это совершенно очевидно. Что

там, справа? Если турки будут сидеть спокойно, тогда всё обойдется. Но если они смекнут, в чем дело, и двинутся?

Всегда одна и та же история. Всегда находишься под угрозой обхода то с одной стороны, то с другой. А солдатам наплевать. Неужели и начальникам тоже наплевать?.. В конце концов это значит плевать на самих себя?! Впрочем, они правы: если бы все были так равнодушны, как они, война бы кончилась.

Однако, рискуя затянуть войну, я должен что-то сделать. Я иду вправо, в самый конец траншеи. Ле-Сенешаль тут как тут.

— Дело плохо! — говорю я ему.

— Да, только что там что-то ворочалось, на дне.

Траншея кончается откосом, а внизу ложбина.

Я отправляюсь к майору, чтобы сообщить ему о положении. Правда, без разрешения фельдфебеля, к которому после смерти лейтенанта перешло командование, я не имею права отлучаться из окопа. Но на все эти права я уже давно наплевал.

Майор — нервный, но неподвижный человек в пенснэ.

Из своей канцелярии, находящейся в окопе второй линии, он не вылезет ни за что на свете.

— Мы, третья рота, оказались в опасном положении, господин майор. Я пришел сказать вам. Похоже, что они пробираются ложбиной.

— Кто вас послал?

— Лейтенант убит.

Больше он ни о чем не спрашивает.

— Если бы у вас нашлись люди! Послать бы в ложбину. Надо занять ее раньше, чем это сделают турки.

— У меня нет резервов. Подождем до утра. (Он знает, что утром будет поздно.) Не полезут они так скоро в контратаку.

— Но надо воспользоваться именно ночным временем.

— У меня нет людей.

— А вторая рота!? Почему бы ей не занять ложбину? Там есть воронки от снарядов,— в них можно укрыться.

— Вторая рота была только-что перебита именно в этой ложбинке.

— Мы-то не должны итти, потому что мы взяли тран-

шею штыковым ударом. Стоило ли делать это? Ведь нас теперь перебьют? Отступать нам, что ли?

— Нет, конечно, нет. Кто командует?

— Фельдфебель.

— Держаться!

Для очистки совести я сам спускаюсь в эту ложбину. Расстройство желудка оставило меня в покое. Я выполняю свой маленький замысел, и это меня забавляет.

Конечно, я передвигаюсь на четвереньках: ведь недаром я — человек XX столетия! Видно, что вторая рота, которая была здесь, получила здоровую трепку. Валяются убитые. Вот раненый. Подхожу к нему. Рана в живот. Он беспрерывно и тихо стонет.

— Убей меня... Убей меня...— просит он.

Я ничего не отвечаю ему и — что еще хуже — не решаюсь убить его.

Впереди вспыхивает огонь пулемета, но это далеко от меня.

— Убей меня, убей меня...— повторяет раненый.

Я ухожу от него подальше, чтобы не слышать его стонов.

На краю ложбины я вижу турок с пулеметом. Что я должен делать? Они уже, вероятно, добрались до середины, до нашей высоты.

Почему я должен итти вперед? Почему бы мне не плюнуть на это дело?

Но ведь мои личные интересы сливаются с интересами всей армии! Спасая свою часть, я спасаю и самого себя. Придется все делать самому. С начальниками, как и с подчиненными, приходится бороться, по крайней мере, столько же, сколько с неприятелем.

Не затягиваю ли я войну из-за своего усердия?

Но если я остановлюсь, разве все остановится?

Я не могу остановиться.

Если я не дезертир, я должен двигаться вперед.

Лежа на брюхе, я одну минутку отдаю наслаждению одиночеством. Я вспоминаю детство. Я вспоминаю пляж в Бретани. Мне страшно. Я вне себя. Я необычайно взволнован. Я так люблю спокойно думать и мечтать, а теперь все эти мысли меня раздражают. Меня волнует это маленькое происшествие — разведка, в какую я так случайно

попал. Но в то же время что-то во мне наслаждается всем окружающим, все впитывает, все подбирает, как муравей... Придет зима, и этот муравей... Как я буду наслаждаться всем этим, когда оно отойдет в прошлое!..

Если бы хоть удалось мало-мальски удобно расположиться. Но и шинель, и каска, и штык, и ружье — все мешает.

Как я здесь одинок и затерян! Как просто подохну я в этой ложбине! Я привык к ней, к этой войне. Я создал себе для нее особое мышление,— мышление смертника, христианина, коммунара: «Господи, в руки твои предаю дух свой». Порядочная он скотина, этот самый господь-бог! Эй, друзья! Есть ли еще они у меня, друзья? Да, два-три приятеля. Скоты! Куда они завлекли меня, на что ушла моя юность! Мне остается только подчиняться судьбе. Даже бунт, это ведь тоже подчинение. Я чувствую себя соучастником всего, что творится в мире. Я одновременно и друг, и враг всему миру. Я воплощаю в себе все. Это не значит, что я растворяюсь в мире и обращаюсь в ничто. Я существую. Я вижу звезды. Какие все люди мерзавцы! Ладно, продвинусь все же немного вперед.

Свист снаряда. Я спешу приникнуть к земле. Разрыв. Чорт возьми, угодило прямо в траншею, к моим ребятам. Я слышу крики, стоны. Уже вмешались и турецкие пулеметы. Пули долетают даже ко мне.

Я отчетливо вижу в ложбине, впереди меня, турецкий пулемет. Он дышит огнем. Он расположен как раз против того места, где кончается наш окоп. Так и есть, они примостятся здесь, обстреляют нас, и нам каюк. Пока пулемет бьет только вдоль ложбины. Но на рассвете они всех нас перещелкают, а потом — только подобрать останки.

Крики и стоны продолжаются. Моя разведка окончена. Я на четвереньках возвращаюсь в траншею. Приближаюсь. Я насвистываю обычный мотив. Впрочем, стрелять в меня никто не собирается. Почему? Очень просто,— едва войдя в траншею, я вижу, что в передней части никого не осталось.

Тысяча чертей! Иду дальше. Здорово однако! Весь парапет обвалился. Несколько человек наклонилось над кем-то. Это Моввье. Ему разнесло плечо и всю морду, он кончается. Дельпланк точно помешался. Он рыдает, как

мать над своим ребенком. Минэ легко ранен в руку. Еще одного из наших убило.

Мои типы растеряны и взбешены. Камье угрожающе смотрит на нас из своего угла. Он раздумывает, в какую сторону бежать. Пьетро готов следовать за ним.

Минэ, поддерживая раненую руку, стоит рядом с ними.

— Надо починить парапет,— бормочет фельдфебель.— По местам!

Свист и разрывы снарядов учащаются. Теперь они удлинили прицел. Перелет.

Пулемет, стоящий против нас, стреляет с перерывами. Два наших пулемета, находящиеся слева, отвечают ему. Но пулемет в ложбине умолк. Это меня беспокоит. Я понимаю, что надо делать. Нельзя ничего ждать от майора. Надо действовать самим, надо уничтожить этот пулемет, пока не наступил рассвет. А наступит он очень скоро. Надо пойти с гранатами. Нас еще осталось немало. Нужно, чтобы пошло человек восемь или десять. Остальные пусть охраняют траншею.

Рискованно, конечно, но иначе — до зари от нас ничего не останется.

Прибегает гонец от майора. Фельдфебель взял у меня мой электрический фонарик, я читаю через его плечо: «Держать отрезок траншеи, чего бы это ни стоило. Завтра нас сменяют зуавы».

Я рассказываю фельдфебелю все. Он в ужасе. Подходит ле-Сенешаль. Он смотрит на меня как бы с упреком, но, как всегда, он готов.

Зову Дельпланка и двух крестьян. Ладно, пойдем пятеро! Я, впрочем, не умею бросать гранаты.

Оборачиваюсь влево, где, вытянувшись, как на карауле, стоял Камье. Я его не вижу.

Как раз в эту минуту раздается страшный вой. Он приближается. Прямо на нас... Привет! Снаряд разрывается прямо против нас, на откосе. Кто-то орет. Опять вой. Целый ураган летит на нас. Я ложусь. Плевать я хочу на пулемет,— я никуда не пойду!

Но вот все опять успокоилось. Начинаем шевелиться. Одному из наших нормандцев попало в ляжку. Товарищи хотят отвести его. Я запрещаю отлучаться, хотя бы на

пять минут. Нас слишком мало. Возвращаюсь мысленно к Камье и Пьетро. Честное слово, они сбежали.

— Я сейчас вернусь,— кричу я фельдфебелю и кидаюсь в ходы сообщения. В другой раз они не посмеют нас так вот покинуть. Первым я нахожу Пьетро. Он делает полуоборот и возвращается в траншею.

— Паршивец!..

Иду дальше. За поворотом я натыкаюсь на Камье. Услышав мои шаги, он лег наземь. Он стонет.

— Не валяй дурака. Ты не ранен!

Я переступаю через него, оборачиваюсь и загораживаю дорогу.

— Вставай сию же минуту и ступай на место.

— Я ранен в ногу, понимаешь ты это?

— Молчи, рыло...

Я зол. Это хорошо: злоба придает мне смелости. Здесь я не боюсь ни кулаков, ни ударов головой в живот. Я наношу ему удар ногой.

Он вскакивает. Глаза его полны смертельной злобы. Он захлебывается от ругательств. Камье коренаст и силен. Я видел его голым,— у него железные мускулы. Я — щенок рядом с ним. Но сейчас мне наплевать на все на свете.

Сначала он сделал шаг назад, но вот он наступает.

— Пропусти, сейчас же пропусти меня.

— Камье...

Он еще немного колебался. У меня колебаний не было. Мне было слишком страшно. Я первый ударил его прикладом прямо в лицо. Он повалился.

Тотчас же меня охватила паника, и я пустился в траншею.

Он попытался удержать меня, ухватить меня за ногу, но у него нехватило сил. Ничто на свете не могло бы остановить меня.

Я вернулся в траншею изможденный. И все-таки... Надо ведь итти в ложбину, надо отобрать пулемет.

Но именно в эту минуту...

Пулемет взял нас под обстрел. Турки в два счета оказались у нас. Я очнулся утром следующего дня в ложбине. Я лежал в глубокой воронке от снаряда.

Как я туда попал — не знаю...

## ЛЕЙТЕНАНТ СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Это было в 1917 году. По пути в Италию я остановился в Марселе, хоть и не имел на это права. Весна и война бродили в старом городе. Они проявлялись здесь ярче, чем где бы то ни было.

Где я? Неужели во Франции?

Толпы солдат и матросов всех рас шатались по улицам, как беспризорные дети. Путешественники, переполнявшие гостиницы, швыряли кредитные билеты пачками. Женщин губили без счета.

Я шатался из бара в бар, пьяный, слившийся со всем этим хмельным морем, но одинокий. Луна, поднявшаяся над старой гаванью, снисходительно заливала ртутью всю эту измученную, но бойкую гниль.

Я заговорил с этим человеком случайно, как заговаривал с сотнями других. Что привлекло мое внимание?

Я был сентиментален, как все пьяницы, и мир казался мне похожим на безостановочно вертящийся волчок. Никогда не чувствуешь человека так отчетливо, ясно, как в эти минуты расслабленной восторженности. Все лица сливаются в одно, и каждое отдельно выплывает лишь случайно. Выражение его глаз казалось чуждым всему его облику. Глаза были беспокойны, но сам он сохранял важность. Такая важность в те времена могла свидетельствовать лишь об одном: человек укрылся, спрятался от войны. Но ведь это не прочно, совсем-то не укроешься,— отсюда внутренние муки, беспокойство.

Он был большого роста, сухопар; у него были крепкие ноги кавалериста, костистый череп и немного помятое лицо. Очевидно — из дворян.

Мундир был поношен, но сидел на нем ловко и был хорошего покроя. Выражение лица было недоверчиво и высокомерно,— чувствовался кадровый офицер.

Цвет лица темный, волосы редкие. Возраст — тридцать лет.

Он, в свою очередь, осматривал меня. В этот период войны я стал одеваться слишком хорошо. Его это смущало. Мои глаза были слишком настойчивы, и это заставило его усомниться, что он имеет дело с человеком воспитанным.

Но у него была потребность поговорить. Взгляд его все время был направлен в мою сторону.

Раздался шум: лакеи и посыльные изо всех сил старались выпроводить какого-то австралийца, порывавшегося убить кого-нибудь тут же, на месте, чтобы утолить тоску, которую ему не удавалось залить алкоголем.

— Смешное дело эта война! — сказал я.— Шутка не из веселых.

Он сочувственно пробормотал что-то, поднял было свой бокал, но разговора не поддержал.

— Оказалось совсем не то, что нам обещали,— продолжал я.— Нас не предупредили, что мы все время будем торчать, как в автобусе, и что нам будут отдавливать ноги.

Он зло усмехнулся и покачал головой.

— Вы оттуда?

— Да! А вы?

Я взглянул на его галуны, на шифр. Лейтенант марокканских стрелков. Похоже, что он лишь недавно прибыл из Марокко. Однако у него на груди военная медаль. Ну, что ж! Ее можно было получить и там.

— Я то уже довольно давно оттуда,— сообщил я.— Сейчас вот еду в Италию. Удираю.

Он сдвинул брови в ответ на мою откровенность. Глядя на его шифр, я вдруг что-то вспомнил.

— Да ведь вы были под Верденом!

— Да, я был там,— подтвердил он, поджимая губу, заросшую короткими усами.

Я решил не отставать от него.

— Неважно там, а?

Внезапно он отдался порыву.

— Омерзительно,— проскрежетал он.

Теперь дорога для беседы была открыта.

— Вы возвращаетесь в Марокко?

Его разозлила моя догадка. Он только взглянул на меня, но ничего не ответил.

Тогда я заметил, что он более пьян, чем мне казалось раньше. Только теперь он разглядел мои нашивки. Он увидел, что я не офицер, и опять нахмурил брови.

— Конечно, я не офицер,— спокойно сказал я, как если бы он высказал свое наблюдение вслух.— Плохой из меня был бы офицер.

Его раздражало, что здесь, в баре, офицеры смешаны в одну кучу с простыми солдатами, если у них есть деньги. Но им владела неутолимая потребность говорить, и мне удалось заставить его разговориться.

— Почему вы уезжаете в Италию?— выжал он из себя.

— Видите ли, я не всегда люблю командовать! Да кроме того...

Он смотрел на меня вопросительно. Его интересовала вторая, еще не высказанная мной причина.

— В этой войне мне многое кажется спорным.

— Вот как?!— еле произнес он и взялся за свой стакан, оказавшийся пустым.

Я заказал два виски. Он не возражал. Я снова начал разговор и вернулся к прежней теме.

— Вы — кадровый офицер и офицер колониальный. Вы должны меня понять.

Ему, видимо, было любопытно знать, что я о нем думаю. Мы чокнулись.

— Эта война не для вас создана,— сказал я, как бы резюмируя свои впечатления.

Сквозь свой стакан он посмотрел на мою грудь. Военный крест не вязался с моими речами.

Снова поднялся шум, и наша беседа была прервана. Громко ругалась какая-то женщина. Она встала из-за столика, за которым сидела с англичанами, и подсела к нам. Это была крупная, бледная блондинка. Она стала прима-

зываться к моему собеседнику. Она захотела сделать глоток из его стакана, который был уже почти пуст. Он отдал ей стакан. Но женщина, взглянув на его поношенный мундир, решила, что от него она ничего хорошего не дождется, и подвинулась ко мне.

— Не теряй времени с нами, малютка,— посоветовал я.

— Спасибо за совет.

Однако она не ушла. В ожидании лучшего она решила остаться с нами.

— Это интересно, что вы сказали. Вы думаете, что эта война не для меня создана? — вернулся к разговору мой собеседник.

— Вот это ловко! — вмешалась в разговор женщина.— Для кого же она создана тогда, эта война?

Но не дожидаясь ответа, она поднялась навстречу кому-то из новопришедших.

Офицер криво засмеялся. Ему нетерпелось выслушать мое объяснение.

— Ну, конечно, эта война создана не для вас. Вы — кавалерист. А там, на фронте, лошадей нет. Они только в тылу. И затем, вы... вы — рубака. А в траншеях любая палка оказывается полезнее сабли. Затем,— там в траншеях нет солнца. И кроме того, на войне слишком много всякого железа.

— Да, в этом вы правы! Железа, правда, слишком много.

Он поддавался, но тон его все еще оставался неопределенным.

— Ну, конечно, там слишком много железной рухляди. Это и губит. Я хочу сказать, что это губит нас морально. Это война чиновников и инженеров. Это пытка, которую жестокие инженеры придумали для унылых чиновников. Но это не война для воинов. А вы... Вы ведь — воин?

— Да, я, конечно, солдат!

— Вот именно. Вы — солдат!

— Я с интересом слушаю то, что вы говорите.

Он старался сохранить небрежный, снисходительный тон, но мои слова уже что-то разогрели в нем.

Мне внезапно вспомнилась одна встреча, происшедшая год назад на каком-то вокзале. Меня эвакуировали из-за

постигшей меня глухоты. Я находился в санитарном поезде. Рядом на перроне готовился к посадке в поезд батальон марокканцев,— все здоровые, молодые красавцы со светлыми лицами. Они были новички, еще не растратившие своих сил. Испуганно озираясь, они жались возле своих офицеров. Подумайте только, чем был для них этот залитый ноябрьским дождем вокзал, этот обледенелый поезд, из которого высовывались бледные, окровавленные и насмешливые лица людей, доставленных с севера, с фронта. Как меня взволновало тогда зрелище этой дикой, но грустной силы.

— Вы участвовали в самом начале боев за Верден! — сказал я.— Ваши люди были великолепны.

Он был тронут.

— Они чудесные ребята. Вы их видели? Что за народ! А что с ними сделали? Мне было стыдно сидеть в Марокко! Я давно просился на фронт, но наша часть была занята, были кое-какие дела и в колониях. Наконец, я попросился в пехоту. Я давно не бывал во Франции,— прежде меня не тянуло туда.

— Вся Европа превратилась в какой-то вокзал. Очевидно, это уже навсегда. Повсюду и везде люди только и делают, что ждут поезда. Очереди, всюду очереди. В поездах, в казармах, в окопах. Очереди в кабаках, в злачных местах, в лазаретах и даже на кладбищах. Какое впечатление произвел на вас фронт?

— Шел дождь,— это главное впечатление. Шел дождь. Люди уже давно отощали. Предо мной были не солдаты, а какие-то больные животные. Нас поставили на спокойный участок, где грязь...

— Ах, я знаю все это! Регулярные и назойливые бомбардировки! Опустошенные деревни! Не только солдаты, но и генералы живут, как кроты. Это — участки медленной жизни и медленной смерти.

— Мы натворили не мало глупостей в окопах первой линии.

— И это мне знакомо! Дерзкие, но неуклюжие нападения, с энтузиазмом и с паникой. Немцы, надо думать, в конце концов, решили дать вам взбучку?

— Да, они начали...

— Начали вас бомбардировать.

— Да! Мои люди магометане. Они умеют безропотно переносить несчастья. Но это несчастье оказалось им не под силу. Они сходили с ума и удирали. Эти прекрасные воины, созданные для атаки, удирали! Им было страшно.

— Всматривались ли вы, какой ужас на лице у солдат, когда они идут в атаку? Один немец добежал до моей траншеи. Его появление так испугало нас, что три человека сразу выстрелили ему в живот. Если бы вы видели этого смельчака! Какое несчастное лицо было у него еще до наших выстрелов. Он так и свалился на нас.

Он покачал головой. Опершись локтем о стойку бара, он раздавил папироску о деревянный бордюр.

— А как чувствовали себя вы?— осторожно спросил я.

— Я чувствовал ненависть...

— Да, ненависть. Правильно. Охватывает ужасная ненависть ко всему на свете. Что именно больше всего вызывало вашу ненависть?

Я задел этого человека за живое. Он встрепенулся. Речь его стала звучать четко. Он резко поднял голову и взглянул мне прямо в глаза.

— Я ненавижу весь современный мир,— отчеканил он.— Весь современный мир виноват в том, что творится.

Меня не удивили и не смутили эти громкие фразы. Они выражали не мысль, а страсть.

— И по этой причине вы возвращаетесь в свой старый мир, который только в Африке и сохранился. Вы, значит, отрекаетесь от современного мира?

Он, нахмурив брови, посмотрел на меня, и я увидел, что он даже побледнел. Я почувствовал, что зашел слишком далеко в своих насмешках, и постарался безмятежностью взгляда успокоить его, утихомирить его испуг и гнев.

— Вы, конечно, предпочли бы жить в другую эпоху,— сказал я уже без насмешки в голосе.

— Да...

— А какую эпоху вы избрали бы?

— Не знаю... восемнадцатый век...

— Война уже и в восемнадцатом веке не была шуточ-

ным делом: уже тогда были казармы, полки. Перестрелка из мушкетов, пальба из пушек были неприятны уже и тогда. Дворяне уже обратились в чиновников. То, что творится теперь, началось с восемнадцатого века, с тех пор, как были созданы регулярные полки.

— Вы думаете?

— Ну, конечно! Нет, подымитесь к средним векам, это будет верней. Тогда боевые столкновения велись по строго установленным и, по-своему, гуманным правилам. Бойцов было мало, но они были тщательно подобраны и хорошо снабжены. Ничтожные потери вознаграждались обильными грабежами.

— Вы — чудак.

— Увы, это правда, я преувеличиваю, я идеализирую этих средневековых героев. Война никогда не была чистым делом. Прежде всего, воевали ведь всегда отнюдь не те, кому война нравилась. А те, кому она нравилась, обрушивались с войной не на себе подобных, а на других. В результате — публика, видя, что участвующие в пьесе актеры слишком часто смешиваются со зрителями для того, чтобы грабить их, сама стала лезть на сцену. Публика была вынуждена ввязываться в драку, чтобы спасать свое добро.

— Ну, знаете, грабежи — это дело особое. Они неизбежны,— воскликнул он таким тоном, как будто мое замечание доставило ему удовольствие.

— Ах, мои слова нравятся вам? В таком случае сознайтесь, что то, чем вы занимаетесь в Марокко, это — не что иное, как особый вид охоты.

— Не верьте этому! Вы не знаете!

— Однако там вы не брезгаете современным оружием? Именно оно дает вам громадное преимущество в тамошней обстановке.

— Это, конечно, верно,— не без раздражения и ворчливо произнес мой собеседник.

— В конце концов, мы все-таки понимаем друг друга. Я, правда, не очень уверен в благородстве войн прошлого, но зато я безусловно уверен в подлости нынешней. В ней-то нет ничего благородного.

— Однако нельзя же забывать...

— Не вздумайте выступать в роли защитника войны. Ведь вы ее покидаете.

Он заволновался. Он уже раскаивался, что начал этот разговор. Он готов был поддаться злобе.

— Это война простонародная,— заявил он.

Я знал, что он ухватится за это слово. Ему необходимо было найти какое-нибудь оправдание. Его охватила тоска. Он покидал Францию, и у него была потребность услышать хотя бы от случайного встречного слова оправдания.

У меня самого было такое же чувство. Мне важно было оправдать его, чтобы оправдать самого себя. Ведь и самого меня удивило, когда я осознал, что эта война нравится мне далеко не всегда.

— Это скорей война заводов, чем война армий. Раньше выделывают на заводах массу всякой всячины из железа, а потом все это швыряют друг другу в голову, и притом это делают издалека, не видя врага и не слыша его стонов. Роль человека сведена до минимума. Иной раз разыграется ночное нападение, иногда мелкие стычки, но суть не в этом. Долгая бомбардировка считается удачной тогда, когда те, кто выбросил больше железа, прикончат тех, кто уцелел в своих убежищах. Это вот и есть единственная возможность непосредственного контакта между людьми. Мы очень далеки от той войны, какая описана у Жуанвиля или даже у Монлюка[1].

— Это — война простонародная,— настаивал мой собеседник.

Я решил взять обратно то, что раньше уступил ему.

— Вы находите? Но надо все же признать, что простонародье начало проявлять себя довольно рано. Со времени битв под Азинкуром и Бувинами[2] пехотные плебеи стали портить игру кавалерии. А потом пришла артиллерия, представляющая буржуазию.

---

[1] Жуанвиль — французский историк (1224 — 1317), автор «Мемуаров о крестовых походах». Блез де-Монлюк — французский капитан (1501 — 1577), прославившийся жестокими расправами над кальвинистами, автор «Комментариев» с описанием его походов. *(Прим. ред.)*

[2] Под Азинкуром французская армия была разбита англичанами в 1415 г. Под Бувинами французские общины разбили войска германского императора Отона IV в 1214 г. *(Прим. ред.)*

Я снова заказал два виски. Мы успели как будто понравиться друг другу.

— Вот еще интересный вопрос,— сказал я,— вопрос о начальниках. В древних Афинах человек, который голосовал за войну, сам отправлялся воевать. Полководцем избирали того, кто предложил войну, и полководец сражался тогда рядом с остальными воинами. А теперь? Теперь-то начальники своей шкурой почти не рискуют.

— Это верно. Так именно и бывает, — смущенно пробормотал он, точно стараясь превозмочь горечь какого-то воспоминания.

— Быть может, и вы когда-нибудь будете генералом!— воскликнул я.

— Я к этому не стремлюсь! Я уезжаю в пустыню. Кто любит пустыню, в генералы не выходит.

— Я читал где-то у Вольтера, что какая-то битва в 1690 году прославилась тем, что в ней генералы в последний раз пошли в атаку во главе своих эскадронов. Сейчас генерал — что-то вроде государственного деятеля. Между генералом и полем битвы такое же расстояние, как между государственным деятелем и народной массой. (В 1917 году еще не было радио.)

— Это грозит очень серьезными последствиями.

— Наша цивилизация развивается в любопытную сторону.

— Она потеряла всякую меру, всякую пропорцию.

— Так кончаются все цивилизации. Начинается новая эпоха: на сцену выходят массы. Так было с Вавилоном, с Египтом, с Римом. Но мы давно переросли их масштабы.

— Мне, право, страшно от всего этого,— сказал мой собеседник.

Я резко перебил его:

— Переходите в авиацию.

— То есть как?

— Ну, да. В современной войне авиаторы — привилегированная каста. Как конница в средние века.

— Вы думаете?

— Ну, конечно. Авиатор ведь зависит только от самого себя.

— А если его аппарат...

— А разве при падении с лошади не бывает несчастных случаев?

— Но я не люблю техники.

— Тем хуже для вас.

— А вы, отчего вы не идете в авиацию? — процедил он сквозь сжатые губы. Это была жалкая попытка защитить свои позиции.

— Я совсем не то, что вы. Я ведь не профессиональный военный. Я не имею права жаловаться. Я человек штатский. Могу ли я жаловаться на эту войну штатских? Нет. Я могу говорить о ней только как о войне сумасшедших. Я как личность имею право защищаться от толпы. Она мне чужая. Я то ухожу от нее, то смешиваюсь с ней. Но я знаю, что перестал бы быть самим собой и жизнь моя утратила бы всякий смысл, если бы я совершенно отошел от этой толпы и ее горестей. Вот почему я иногда чувствую себя соучастником того, что творится, и время от времени лезу в траншеи. Когда это самочувствие меня оставляет и мне становится ясно, что на войне больше глупости, чем несчастья, я ухожу.

— Как вы это делаете?

— А как вы устроились, чтобы покинуть французский фронт и уехать в Африку?

Он отвел глаза и промолчал. Я попытался объяснить ему свою судьбу.

— Один раз я был ранен. В другой раз я оглох. А сейчас меня месяца на два, на три выручила протекция. Однако я ни за что на свете не хотел бы укрыться навсегда. Мне еще нет двадцати пяти лет. Я погиб бы морально.

Он казался очень удрученным.

— Разве я не прав, разве можно жить под гнетом общего презрения? — сказал я уже раздраженным тоном.

Он выпрямился и попробовал усмехнуться. Но было поздно. Если бы он был предусмотрительней, то мог бы взять верх надо мной. А сейчас это уже не выйдет.

— Что, собственно, мучит вас? — спросил я. — То, что вы похожи на многих других, возвращающихся в Марокко? Компания, правда, незавидная. Марокко заполнено

маменькиными сынками. Но ведь вы можете сказать самому себе, что вы вовсе не такой, как они, что вы избрали этот путь по другим причинам. Ведь в Марокко вы останетесь самим собой и согласитесь пойти на смерть, если это будет согласно с вашими вкусами и вашими привычками!

Я говорил не спеша, с насмешливой простотой в голосе. Я даже прикинулся слегка пьяным, чтобы легче сходили с уст эти жестокие, но справедливые слова.

— Уйдемте отсюда! — предложил он.

Мы вежливо поспорили, кому платить за выпитое. Заплатил я, и мы вышли. Улица уже начала пустеть. Мы прошлись немного. Пользуясь темнотой, я возобновил прерванный разговор.

— Конечно, многое остается спорным. Нет уверенности, что все эти мотивы не придумываешь лишь затем, чтобы скрыть собственную трусость. Так бывает часто. Не хочется умереть, и вот начинаешь убеждать себя, что ты не любишь грязи, шума или толпы, что ты враг демократии или плутократии. В конце концов все это лишняя сентиментальность. Меня, например, воспитали неженкой. Но ведь вы — дело иное. В вас сидит человек средних веков, пусть так. Но ведь есть в вас и человек современный, хрупкий, который не мог быть с детства приучен к бедствиям и жуткой судьбе нашего поколения.

Я не видел его, но чувствовал, что мои слова волнуют его.

Однако он не перебивал меня: ему хотелось дослушать до конца.

— Но ведь я не мало перенес в Африке! — с гневом воскликнул он наконец.— Я много страдал и не бежал от этих страданий. Я терпел голод и жажду, я мучился от одиночества. Мне грозили очень серьезные испытания, но я с легким сердцем отказался от радостей жизни. Я с самого детства мечтал быть офицером в Африке и сумел осуществить свою мечту. Я умел много дней под ряд глядеть в глаза смерти.

— Верю... Поэтому я и говорю с вами с чувством симпатии и... уважения.

Я некоторое время шел молча рядом с ним и наконец

нанес ему последний удар, выбрав наиболее подходящий момент.

— Но ведь в боях под Верденом вас охватил страх!— сказал я.

Это подействовало. Он заговорил взволнованно, как бы охваченный бешеным припадком откровенности.

— Да, мне стало страшно. Я не был бы человеком, если бы мне не было страшно. Те, кто могут выдержать эту зловещую бойню, это — уже не люди.

— Терпение, какое проявляют европейцы на этой войне, говорит только о том, как низко они пали. Они стали подлецами, они сгнили до самой глубины души и потеряли все чувства, свойственные живому человеку. Подумайте, что сказали бы Сократ или Монтэнь, если бы они оказались у Дуомона [1]. Люди в наши дни не знают, что такое война, как не знают и того, что такое искусство, что такое человеческая любовь. Они забыли все. Их подлость происходит от полного невежества. Но вот русские! Эти чудесные мужики, эти подлинные язычники! Они как будто собираются все бросить...

Он внимательно взглянул на меня. Мои слова и раздражали и привлекали его.

— Послушайте,— сказал я, глядя на него в упор,— не бойтесь вы меня. Я, конечно, не пацифист, вы это должно быть чувствуете. Мне отвратителен мужчина, который не умеет быть мужчиной, который не способен платить жизнью, когда это нужно. Я прощаю это только некоторым избранным людям, тем, которые несут большую моральную ответственность. Да и то... По-моему всякий человек должен быть в какой-то мере воином. Когда я был ребенком, я тоже мечтал стать офицером. И всякий раз, когда я встречаю человека, который возвращает меня к моим ребяческим мечтам, как вы, это волнует меня.

Встреча с ним воскресила во мне мечту о новом человеке, о типе революционера, который прежде всего должен быть воином. Этого нового человека я после войны неустанно искал среди политических деятелей Франции.

---

[1] Форт к северу от Вердена, место особенно упорных и ожесточенных боев в империалистическую войну. *(Прим. ред.)*

— Я должен казаться вам лицемером,— сказал мой собеседник,— но все то, что вы говорите...

— Да, есть вещи, которые неприятно слышать из чужих уст. Надо преодолеть в себе это чувство.

Он вздохнул и взглянул на небо. Это уже было небо Африки.

— Есть ведь разные точки зрения,— сказал я.— Богобоязненные христиане, например, те одобряют эту войну. Они славят войну: она терзает тело, а тело находится во власти пороков. Они в восторге от этой бойни.

— И люди, которые привыкли к конторе, к заводу.

— Да, те отправляются в траншею, как на службу. Но мы с вами...

Мы шли тихими улицами восточной части города.

— Когда со спокойного участка нас бросили под Верден, я потерял половину своих солдат еще до того, как мы вступили в бой. С остатками своей роты я занял несколько окопов, и мы пролежали там под бомбардировкой целую неделю,— сказал он.

Затем я стал грезить. Я часто подпадал тогда под непреодолимую власть грез. С тех пор прошло уже п я т н а д ц а т ь лет, но я и теперь в их власти.

«Странное впечатление производит земля, на которой никого нет, земля, не знающая человеческого глаза, земля, вдовствующая без присмотра, без живого человека. Это впечатление резко усиливается, если земля эта разграблена, обнажена, если с нее смахнули дома, вырвали из нее деревья и траву, угнали животных. Что это за невообразимое, бесчеловечное зрелище! Видели ли вы пустыри на окраинах городов? Знаете ли вы уныние этих мест, которые не являются ни городом, ни деревней? Во всей этой местности никого не было. Но тысячи глаз были тайно устремлены со всех сторон, а я их не чувствовал. До меня не достигала ж и в а я теплота этих зарывшихся в землю людей. Кто не видел пустоты и безлюдья, какими отличается поле битвы в наши дни, тот не может представить себе размеров бедствия, уничтожающего наш материк. Здесь находятся где-то тысячи, сотни тысяч человек. Но их не видно. Где они? Они спрятаны, зарыты, заживо погребены в земле. Они не

двигаются. Они обречены на неподвижность, которая будет длиться много дней. Стоит пошевелиться, и ты будешь замечен. Земля скрывает людей. Но земля уничтожена. Здесь нет равнины. Здесь разбросаны холмы и ямы. Все перекопано и изрыто, и ни одна часть не отличается от окружающего. Все вокруг стало похоже на лунный пейзаж. Кратеры каких-то вулканов раскрыли свои пасти, подобно толпе мертвецов, оскаливших челюсти. На много миль вокруг нет ни домов, ни деревьев, ни травы, ни птиц... Одиночество, неподвижное одиночество,— вот все, что мне запомнилось от тех дней... Я живо помню местность. Она отличалась волнистой поверхностью. Десять тысяч пушечных жерл забрасывали ее снарядами. Жуткие остатки уничтоженного леса были похожи на человеческие кости. Почему-то они напоминали также коробки из-под консервов, кучами брошенные на свалки. Это было в феврале. Местами лежал снег. Этот снег только подчеркивал сходство с лунным пейзажем. Бледность солнца усиливала это впечатление, как будто вся вселенная была, как и мы, охвачена страданием.

«Моя рота заняла Тиомонский редут. Мы вошли в самую его середину. Это было старинное сооружение в форме полукруга, сзади замыкавшееся решоткой. Под этим полукругом находились две больших подземных камеры.

«Когда началась бомбардировка, мои люди вошли в эти камеры и уселись в круг. Старый ополченец, который был здесь сторожем, сообщил нам, что потолок хоть и бетонирован, но вряд ли устоит против тяжелых снарядов. Он прибавил еще, что под камерами находится пороховой погреб. Сказав это, он поспешно вышел.

«Бомбардировка вначале велась легкими снарядами. Стоя у порога первой камеры, на верхних ступенях лестницы, я смотрел, как эти снаряды взрывались во дворике, находящемся позади решотки. Когда снаряды попадали на вершину сооружения, земля и камни падали у моих ног.

«Прислонившись к косяку, я смотрел на все это, как больной, которому нельзя выйти из дому. Позади решотки, за откосом, находилась ложбина. Другой откос спускался прямо против меня. Его засыпало снарядами.

Я не отрываясь смотрел на эту избитую, оскорбленную и поруганную пустыню.

«Снаряды мелкого калибра уже успели исковеркать все вокруг. Стали валиться снаряды тяжелого калибра. Они оставляли громадные глубокие и зияющие ямы.

«Затем опять возобновился поток снарядов меньшего калибра. Никто никогда не представлял себе ничего подобного. Те, которые видели бои на Сомме, говорили, что и самые тяжелые минуты, проведенные там, были детской игрой рядом с происходившим здесь светопреставлением.

«Тяжелые снаряды падали через правильные промежутки времени. Меня поразила эта регулярность. Я стал следить по часам. Оказалось, эти снаряды падали каждые две минуты. Они были очень велики, и там, где они падали, образовывалась жуткая пустота.

«А я стоял неподвижно. Мне нечего было делать. Светило холодное, неприветливое зимнее солнце. Надо оставаться неподвижным. Делать ничего нельзя. Все мужество заключается в том, чтобы неподвижно ждать. Я считал этот вид мужества безобразным. Оно было не по мне, оно не согревало мою душу. Оно повторяло неподвижность окружавших меня солдат. Я ничего не мог предпринять, не мог произнести команды. Я был затерян в громадной толпе, на самых низах глупой иерархии. Это оно, современное общество, лежало здесь, распластавшись среди лунных вулканов. Этот строй и здесь сохранил свою все более и более бессмысленную иерархию. Как бессмысленно это современное общество со своей чумой, с проказой, с чесоткой, с верой в конец света...

«Я перестал разглядывать местность. Теперь ее потрошило снарядами все глубже и глубже. Я смотрел на часы. Положение упростилось. Моя судьба по теории вероятностей должна решиться в ближайшие мгновения. Но мое тело не желало покориться велениям секундной стрелки, зависеть от тиканья часов. Оно жило своей, взволнованной и напряженной жизнью. Мое сознание, как хрупкая часовая стрелка, вращалось вокруг одних и тех же мыслей. Еще одна минута. Еще одна прожитая вечность. Я почувствовал спазмы в желудке. Это было не-

преодолимо. Как быть?.. Я был охвачен хаосом. Уборные были расположены у решотки. Под ливнем снарядов надо пересечь двор. Я пошел по пустыне, охваченной огнем. Двор был залит дождем осколков. Мне пришлось перейти его несколько раз. Это было своего рода геройством.

«Немцы долго не показывались. Работала только их артиллерия. Только в середине дня они двинулись в надежде, что найдут одни наши трупы. Но в это время открыла пальбу наша только что прибывшая артиллерия и отогнала их. Я видел, как по насыпи мчались два полка нашей артиллерии. Это была дикая скачка коней Апокалипсиса.

«Кто были люди, сидевшие в подземелье? Я не знал их. Мы на Сомме потеряли много народу, и теперь здесь все были новички, явившиеся с пополнением. Я их не знал. Солдат, перебегавший двор под железной грозой, втянул плечи, как провинившийся школьник. Добежав до двери, у которой я стоял, он закурил от моей папиросы и прислонился к косяку. Я оказался позади него. Мой подбородок упирался в его плечо. Вдруг вселенная лопнула. Полет снаряда был тяжел, и снаряд этот был необъятен, как вселенная. Он заполнил собой весь мир. Земной шар содрогался в медленной конвульсии. Сначала он двигался почти с такой же быстротой, как сверкание молнии. Я успел увидеть его приближение, но тотчас же вслед за этим все было кончено. Человек, который встал впереди меня, как будто для того, чтобы спасти мою жизнь, был ранен в живот. Он повалился на меня. Я опрокинулся и упал в подвальную камеру. Дверь обрушилась, и камера превратилась в живую могилу. Я рычал и выл. Все сидевшие в камере вскочили. Мой крик был страшен. Он принес им еще больше ужаса, чем самый снаряд. Люди бросились к тому месту, где раньше была дверь. Теперь здесь возвышалась черная стена. Они переступали через меня. Меня топтали ногами с таким остервенением, как будто это было утешением для этих заживо погребенных людей. Топтавшие меня каблуками обрушивались на мою грудь, как горы. Они меня душили. Ужас охватил меня. Я умирал, я чувствовал себя на самом дне мира. Вся вселенная была против меня,— и немцы, и французы одинаково. У

них у всех на башмаках толстые гвозди. Ужас заполнил мою душу. Я лежал неподвижно, как во сне.

«Но судьба послала мне спасение. Произошел еще один обвал, и раскрылась другая дверь. Топтавшие меня ноги исчезли, и я свободно вздохнул. Мое разбитое тело собрало все силы. Оно встало на ноги. Оно бросилось во двор. Я побежал вслед за обезумевшими солдатами. Но во дворе огромный снаряд развоpотил землю, и я упал в образовавшуюся пропасть. Мое омертвевшее тело не почувствовало новых ушибов, и, безуспешно стараясь выбраться из ямы, я взглянул наверх. Решотка оставалась нетронутой. Одна из ее сторон невинно раскрывалась над моей ямой. Люди уже вылезали на поверхность и удирали, оставляя меня гибнуть в яме. Из глубины я увидел торчащую ногу. Это останки того солдата, который нечаянно защитил меня своим телом. Его нога торчит из развалин. Неумолчно воя, я вылез наконец из ямы.

«Покинувшие меня люди вскоре пожалели, что оставили бетонированную камеру. Под открытым небом мы все были целиком отданы во власть железного вихря. Вскоре беглецы вернулись в свою полуразрушенную берлогу. Я снова, как часовой, встал у дверей.

«Ничего особенного в этот день так и не произошло.

«Я стыдил себя. Мое поведение было позорно. Это ужасно! Как могло случиться все это со мной, солдатом? Но солдат, это — человек. Человек, это — тело. Что же сделалось с моим телом? Я не чувствовал власти над своим телом. Оно было отдано на тяжелую, глухую и долгую муку, отвратительную и медленную, как дни болезни. Мне не надо двигать ни руками, ни ногами. Мои мускулы ни за чем не нужны мне. Мне не нужно командовать, отдавать приказания. Эта главная часть моего я, лежащая между моей душой и моим телом, тоже ни к чему мне не нужна. Мои люди сидели и ждали. Если они сохранили способность испытывать какое-либо чувство, то только чувство активного страха.

«Особенно сильно действовало отсутствие неприятеля. Врага не было видно, и это расшатывало во мне последние остатки человеческого. Я не мог найти какого бы то ни было смысла в чувстве храбрости. Какая бы то ни бы-

ла четкость, точность делались бесполезны. Всякая возможность деятельности, проявления воли были парализованы.

«Зачем я здесь? Что я тут делаю? Я — человек. Я пришел в мир людей и животных. Неужели наши предки для этого трудились над созданием культуры, чтобы мы все внезапно оказались беспомощными, чтобы все наши движения стали машинальными, слепыми и бессмысленными? Что такое машина, пушка, стреляющая безостановочно? Это не человек, не зверь, не бог. Это — неправдоподобное существо, живущее по своим собственным законам, на основании неведомых вычислений, само прокладывающее свою траекторию над миром. Как жутка власть неодушевленных предметов над живой жизнью. Материя живет своей механической жизнью. Абсурдные слова «механизм», «материализм» наполняются новым, неведомым смыслом.

«Какое страшное и неожиданное течение событий! Изобретая первые машины, человек продал душу дьяволу. И вот теперь дьявол заставляет человека расплачиваться.

«Я смотрел по сторонам. Дела у меня нет. Бомбардировка продолжается. Сражаются между собой не живые люди, а заводы. Пехота — это сборище беспомощных представителей человечества — гибнет, раздавленная промышленностью, торговлей и наукой. Люди разучились творить, создавать оперы и статуи. Они умеют только швырять глыбы железа и взрывать их на мелкие куски. Они бросают друг в друга грозы и землетрясения. Они не становятся от этого богами, но они уже не люди.

«Какая тоска! Мой разум, мое мужество,— разве они нужны здесь?

«Я тоскую. Как безобразно все вокруг: человечество и природа смешались в небытии...»

... Мы оба, стрелок и я, шагали по незнакомому городу, находящемуся далеко от фронта. Время от времени мы обменивались замечаниями о погоде. И в этих незначительных словах мое сознание,— и, вероятно, его сознание также,— с молниеносной быстротой схватывало мелкие подробности, которые помогали нам познать самих себя.

— Нас обстреливала не только чужая, но и наша собственная артиллерия,— пробормотал он.— Они обе обрушились на нас. Атаки и контратаки были похожи на восстания паралитиков, на ползание гусениц, на бессильные замыслы сумасшедших.

— Но гранаты — это уже кое-что,— сказал я.

— Гранат было сравнительно немного.

— Вы преувеличиваете.

— А вы?

Мы оба грубо и цинично рассмеялись. Этот смех раскрыл предо мной моего спутника до такой глубины, которая удивила меня.

— Верден! — сказал я. — Ни деревьев, ни домов, ни животных на пять миль кругом.

— Целые дивизии гибли, не успев даже дойти до первой линии.

— Люди умирают и убивают, не видя друг друга.

— Окопы перепутаны. Немцы и французы стонут рядом. Артиллерия затеряна в невидимом пространстве, как военный корабль, захваченный бурей во время битвы.

— И подумать только, что люди считают себя обязанными защищать все это. После войны мы услышим, чего доброго, прославления этой механизированной плебейской войны,— сказал я.— А прославлять-то будут поклонники доброго старого времени, те, которые любят тихую сельскую жизнь и душу человека.

— По-вашему, я захожу слишком далеко?

Под Верденом я боялся людей, валявшихся вокруг меня. Я думал о генералах, сидящих в тылу.

— В каждом генерале сидит бывший лейтенант,— сказал мой собеседник, как бы угадывая мою мысль.

— Но о чем мечтает лейтенант? Он — человек. Он стремится к солнцу. Да, под Верденом я плакал. Бедная, загубленная юность моя! Я мечтал о войне, и вот что оказалось: пустырь, на который дождем сыплются всякие дурацкие предметы. Кучки заблудившихся солдат. А позади их — начальники, бывшие лейтенанты. У них были когда-то гордые мечты. Теперь они стали стрелочниками. На их обязанности лежит сваливать в небытие поезда мяса. Я помню, как однажды немцы шесть часов подряд шли

в атаку, но это осталось безрезультатно. Мы их почти и не видели.

— Мне противны эти простонародные бойни,— повторил мой спутник.

— А как же быть с Францией?

Я думал, что нам удастся вплотную подойти к этой стене, о которую, вероятно, и он бился много месяцев. К моему удивлению, он только пожал плечами. Он колебался и увиливал от вопроса.

— Я ведь ранен. Я был там, во Франции. Теперь меня отсылают обратно.

Я остановился посреди улицы. Это была спокойная улица. Мы были одни. Я взвесил свои слова и сказал, не глядя на него:

— Вы, правда, ранены?

— В ногу.

Он опирался на палку. Я видел, что в баре и на улице он переминался с ноги на ногу. Но ничего серьезного рана не представляла. Это был только предлог.

— Ну что ж, тем хуже! — сказал я.— Ваша судьба не представляет интереса.

Он не ответил. Мы взглянули друг на друга.

«Имею ли я право презирать его?» — подумал я. Несомненно, наша встреча одна из тех редких встреч, когда два человека, по молчаливому соглашению, принимают обязательство быть искренними друг с другом. Но разве я-то знаю, что представляю собой? Разве я знаю, что выражает обычно мое лицо? Что выражает оно в данную минуту? Быть может, у меня вовсе не такой вид, чтобы заслужить это высшее доверие. И кроме того, у каждого человека есть ведь кое-что, чего вырвать из него нельзя.

Однако я снова повторил:

— Ну, так как же быть с Францией?

— Я свое сделал. Я нужен буду и там, у себя, в Марокко. Не могут же все служить в пехоте и итти на Сомму.

— Вы, очевидно, не очень дорожите этим, как и я...

— Ну да, как и вы...

— Но ведь вы занимали в жизни иное положение, чем я.

— И все же мне не хотелось жить во Франции.

— А сейчас? Скажите прямо: я не хочу там умереть.

— А что думают в таких случаях немецкие дворяне, подобные вам?

— Они должны думать так же, как и я.

— Это здорово!

Теперь пришла его очередь остановиться. Он заставил меня обернуться к нему.

— Вы не такой человек, чтобы считать себя судьей других,— злобно сказал он.

— Если пошло на откровенность, то вы — правы.

— Ну что ж, вы уже знаете меня. Я был вполне откровенен с вами.

Я свистнул.

— Пожалуй!

— Каждый человек может обнажить самого себя лишь до известного предела. Вы знаете это.

— Расскажите это моему бывшему полковому командиру. У него была душа служаки. Его убили под Верденом.

Он стиснул зубы и воткнул свою палку между двух булыжников мостовой.

— Плевать я хотел на эту драку. Она мне омерзительна.

— Вы и на Францию тоже собираетесь плюнуть?!

Он серьезно глянул на меня и процедил:

— Чтобы сделать вам удовольствие, я могу сказать «да». Но это будет не вполне верно.

— Ну, еще бы, я прекрасно знаю, что вы вовсе не интернационалист.

— Я отправляюсь в Африку совсем не для того, чтобы плевать на Францию и ее интересы.

— Вы, значит, выбираете себе врагов, которые были бы вам по вкусу.

— Не я один так поступаю. Вы стараетесь уязвить меня только потому, что не любите офицеров.

— Это верно.

— Ну вот видите!

— Вы довольно любопытный экземпляр среди офицеров.

Он снова зашагал, охваченный самодовольством и неудовлетворенностью, беспокойством и уверенностью в себе.

Моя злость проходила. Этот человек все больше интересовал меня. Я вовсе не судья людям. Если бы я стал осуждать их, разве я когда-нибудь понял бы их сущность?

Вяло, сбиваясь и повторяясь, я все же вернулся к нашему спору. Он не возражал против этого. Он успел успокоиться, почувствовать уверенность в своей правоте.

— В конце концов, если немцы возьмут Париж,— начал я,— если придется привезти из Африки последние остатки войска...

— Тогда я вернусь.

— Но тогда будет поздно.

Мимо нас прошли пьяные матросы. Они ни о чем не думали. Он взглянул на них с завистью и сердито посмотрел на меня.

— Вы умеете красно говорить.

— То, что я сказал вам, я говорю и самому себе.

— Но тогда вы не слушаете: вы притворяетесь глухим.

— Это, конечно, очень удобно — заявить себя отдельным индивидуумом и на этом основании насмехаться над требованиями общества. Но ведь каждый из нас принадлежит обществу телом и душой, никто сделать без него ничего не может, и все же, чем дальше живешь на свете, тем больше стараешься уклониться от его сумасшедшей требовательности. Благословенный грех, благодетельный обман. Вы надеетесь избегнуть всеевропейского потопа? Приветствую вас, как Ноя... в его ковчего.

Он хмуро улыбнулся.

— Я увожу в Африку свое тело. Это все.

— Не бойтесь, ваша душа неразлучна с вашим телом. Она сумеет приспособиться.

— Что останется от Франции и Германии после войны?

— Вам останется ваша Африка.

Я не хотел злить его. Да и поводов для этого у меня не было. Я и сам в ту пору еще не разобрался в этих проблемах. В свои двадцать с небольшим лет я жил изо дня в день, поддаваясь инстинкту, который то кидал меня на фронт, то прятал в тылу.

Мы повернули на набережную и шли долгое время молча. Потом мой собеседник снова стал защищать свою по-

зицию. Аргументов у него не было, но его слова были насыщены страстью, как будто он повторял их сотни раз самому себе.

— Я — африканец! Я всем сердцем со своими арабами. Я делил с ними их жизнь и воевал в их рядах. Но они воюют и между собой.

— Вы играете словами. Вы воюете с ними для того, чтобы с помощью скорострельных ружей уничтожить их жизненный уклад, чтобы помешать им воевать между собой.

— Я знаю. Все это полно противоречий. Да в конце концов, наплевать...

Мы остановились и взглянули друг на друга.

— Ну да, в моей жизни есть ложь,— выпалил он наконец в искреннем человеческом порыве, какого он не проявлял с самого начала нашей беседы,— но ложь и противоречие есть во всем. Ложь служит основой жизни каждого человека. Вы, сударь, знаете мою ложь, мою основу. А какова ваша? Я ее знаю. Вы хотели бы быть храбрецом, но вы вовсе не храбрец. Эта ваша мечта — быть храбрым — приводила вас два или три раза на фронт. Вы можете говорить, что были храбры. Но это ложь, и она хорошо определяет ваше основное свойство: бесполезную неустрашимость обреченных.

— Неплохо сказано. Но, когда я бывал храбр, это делалось без усилия.

— И я изведал это, но только в Африке. Так что Франции я послужу там. А для Вердена пусть Франция поищет других.

— О да, мы всегда рассчитываем на других. Пусть другие делают то, чего не сумели мы,— они все равно ни на что иное не способны. Мы хитро распределяем роли.

Больше мы ничего не сказали друг другу. Мы находились на набережной.

— До свидания,— сказал он.

— Мы о многом поговорили.

— Один раз не считается,— бросил он на прощание и, прихрамывая, ушел.

## ДЕЗЕРТИР

Не я искал его и вызывал на разговор. Он сам навязал себя мне.

Я оказался в качестве официального лица. В Южной Америке я был представителем экономических интересов Франции.

Как-то меня пригласили председательствовать на французском банкете. Я отнесся к этому с опаской. Я очень боюсь этих многолюдных празднеств.

Местные купцы приглашали меня, очевидно, затем, чтобы продемонстрировать, в какой экстаз приводит их принадлежность к французской нации. Им казалось, что это сблизит их со мной. Отказаться от приглашения я все же не решился. У меня мягкий характер. Но все время банкета я оставался настолько трезв и равнодушен, что на всех лицах отразилось разочарование. Только под конец банкета я, чтобы избежать скандала, произнес несколько банальных фраз о нашей общей гордости. Этого оказалось достаточно, чтобы обмануть и удовлетворить всех, кто не умеет не поддаваться обману. Те немногие, кто не входил в эту группу, улыбались, нахмурив брови.

На следующий день утром ко мне в гостиницу пришел один из участников банкета. Его имя, нацарапанное на вырванном из записной книжки листке, было мне неизвестно, и я отказался принять его, опасаясь встречи с сумасшедшим или с человеком, который пришел просить денег взаймы.

Но когда несколько позже я вышел из своего номера, я встретил этого человека в вестибюле и вспомнил ироническую улыбку, которая вчера, во время моего выступления, выделяла его из общей массы удовлетворенных слушателей.

— Я хотел бы, чтобы вы уделили мне часок для беседы,— сказал он.

— Я очень занят.

— Разве вы не любопытны? Приходилось ли вам когда-нибудь видеть дезертира?

— Ну, конечно. Вы говорите о себе?

— Да! Мне уже лет пятнадцать не удается поговорить по душам с толковым французом.

Я решил отказаться от предстоявшего мне скучного визита.

— Ладно! Пойдем!

Мой собеседник, детина футов в шесть ростом, был типичным французом. Без сомнения, это — бургундец. Об этом говорят его крупный мясистый нос, голубые глаза, тонкий рот и яркий цвет лица. В его звучном голосе слышалась ирония.

Мы поехали в моем автомобиле и вскоре оказались в уединенном кафе на берегу Атлантического океана.

— Почему вам вздумалось заявиться ко мне?

— Из-за вашего вчерашнего выступления. Оно мне понравилось. Оно было скандально.

— Вы преувеличиваете.

— Быть может... Вы старательно служите государству?

— Вы что же, анархист, что ли?

— Нет. Я вообще не интеллигент. Я человек дела. Какие бы то ни было теории приводят меня в ужас.

— Расскажите, когда именно вы дезертировали?

— Я проделал это еще в августе 1914 года.

— Вы жили тогда во Франции?

— Да.

— И состояли на действительной службе?

— Нет, меня признали негодным.

— Это вас-то, этакого богатыря?

— Ну, знаете, у меня был дядя генерал.

— Как же вам удалось дезертировать?

— Я уехал в Голландию в самый день первого августа. Тогда мне еще не могли помешать уехать. Из Голландии я направился в Южную Америку.

— Ну и что же? Быть может, ваши побуждения окажутся интересны, но самый факт дезертирства этим не отличается.

Однако собеседник не поверил моему безразличию.

— Мне хотелось побеседовать с толковым французом,— повторил он.

— Вы что же, так уж любите французов?

— Не больше и не меньше, чем всех прочих. Но я недостаточно хорошо владею итальянским, немецким и английским, так что, кроме испанцев и португальцев, французы — единственные европейцы, с которыми я могу по-настоящему разговаривать.

У моего собеседника были светлые, прозрачные глаза. Я не мог решить, выражают ли они спокойствие или глупость. Говорил он медленно, подыскивая слова или делая вид, что подыскивает.

— Итак, по каким же причинам вы дезертировали?

— Я не хотел быть убитым.

— Умереть все равно придется раньше или позже.

— Ну, нет!.. Я чувствую долг перед самим собой — прожить как можно дольше.

— Но ведь главное в том, к а к жить!

— Как угодно, лишь бы жить.

— А как вы жили?

— Довольно плохо. Но подчас и восхитительно. Еще и до сих пор я каждый день чувствую, что живу только потому, что сумел захотеть этого.

Я вспомнил, что на фронте, находясь под огнем, я и сам часто мечтал о таком простом жизнеощущении.

Я оглядел костюм своего собеседника. На нем была мягкая рубашка, обычная среди южно-американской молодежи, но в его галстуке и жилете, в его ботинках на пуговицах было что-то чопорное, что выдавало француза. Впрочем, это могло сойти и за признаки чопорности южно-американской.

По его наружности нельзя было сказать, богат он или

беден, скуп или рубаха-парень, или это буржуа, подделывающийся под богему.

— У вас, очевидно, были средства, раз вы могли бежать так далеко.

— Напротив, очень мало. Мне пришлось отказаться от небольшого наследства. Мой отец был строительным подрядчиком в Боне.

— Это наследство, очевидно, представляло собой не бог весть что.

— Ну конечно.

— Вам удалось устроиться?

— О, я мог бы нажить состояние. Но это меня не интересовало. Единственное, что я люблю, это — жить. Жить во что бы то ни стало.

— Но в чем же это заключается, в конце-то концов?

— Что такое жизнь? Но ведь это ясно. Жить — значит дышать, ходить, двигать руками, есть, пить, курить, заниматься любовью.

— И это все?

— Ну конечно, если только делать все это хорошо.

— А требования, какие всем нам ставит общество?

— Ну, знаете, оно требует слишком многого. Я стараюсь дать ему как можно меньше.

— Но ведь оно-то вам дает много!..

— Оно само стремится дать мне больше, чем я прошу.

— Пребывание в рядах общества имеет свои достоинства и недостатки. Вы берете одно и отвергаете другое. Это значит, что вы ведете с обществом нечистую игру, вы его обманываете.

— Если бы не мы, люди, которые его обманывают, общество не выжило бы.

— Но вы-то общество любите?

— Так уж устроен человек. Он всегда живет общественной жизнью.

Мой собеседник употреблял отвлеченные понятия с забавной осторожностью.

— От того, кого любишь, надо принимать все,— сказал я.

— Почему? Вы любите природу, однако вы ведь не

вздумаете поселиться в пустыне или в кратере вулкана, хотя и они представляют часть природы.

— Вот вы отрицаете право общества вести войну. А война — в природе. Разве вы отвергаете и ее?

— Что вы хотите сказать?

— Ну, если я, скажем, стану вас ругать, бить,— разве вы не ответите мне тем же? И разве у вас никогда не возникает потребности наносить удары?

— Ну конечно. И я никогда себе в этом не отказываю.

Он рассмеялся во весь свой белозубый рот и расправил свои могучие плечи. С этой минуты он стал чувствовать себя проще: он поверил, что я не собираюсь истолковать его откровенность в дурную сторону.

— О, мне немало пришлось подраться. Я знал трудные годы. Я ведь испробовал много профессий, сталкивался с самыми различными людьми.

— Почему же вы не признаете за обществом права поступать так, как поступали вы?

— Нельзя сравнивать частную потасовку с вашей европейской бойней.

Я помолчал.

— Что бы вы ни говорили, но, по существу, вы отвергаете цивилизацию.

— Как так?

— У вас нет никакого отечества. А ведь это неизбежная форма общества. Человек всегда и во всем связан со своим отечеством. Ведь все разнообразие на нашей планете только тем и достигается, что на ней есть разные страны.

— Ну, если на то пошло, то и Франция, и Германия слишком малы, чтобы заслонить весь остальной м р.

— Когда я говорю об отечестве, о моем отечестве, я имею в виду всю Европу. Если вы не в Соединенных Штатах и не в России, вы не можете не стремиться к Соединенным Штатам Европы.

— Нет, уж Европу я покинул всерьез. Я сделал это, повинуясь инстинкту, но сейчас уже и разум подсказывает мне, что Европа погибнет в распрях.

Наше кафе было расположено на холме, на середине склона. Это было полу-немецкое, полу-итальянское кафе. Его выбрал мой спутник. Убожество дачного стиля иску-

палось обильным солнцем. Здесь росло несколько больших пальм. Ходили бледные мулатки в розовых платьях. Перед нами открывалась большая бухта. Ее окружали красивые горы. В их очертаниях чувствовалась красота вечной молодости. Земля вечно будет прекрасна.

Правда, между горами раскинулся огромный город. Но и это не портило впечатления. Пальмы благословляли его и оберегали в своей благодатной тени высокие, залитые светом дома.

— Да, вы успели уже стать американцем. Что ни говорите, а Америка — мировой континент. Правда, и в Америке то тут, то там происходят иной раз перестрелки. Но по-настоящему в Америке с XV века почти не воевали.

— Вернее, здесь только то и делают! Но большей частью это делают по мелочам.

— Все же проклятых этих периодических больших войн Америка не знает... — Он покачал головой.— А ведь когда-то европейцы здесь именно этого искали.

Я глядел вдаль, туда, где раскинулся этот большой, весь обращенный к Европе, американский город.

— Очевидно, быть американцем,— улыбаясь, сказал он,— это значит отрекаться от Европы.

— Да. Вы, как и все американцы,— только европеец без отечества.

— Это, пожалуй, верно.

— У вас у всех здесь есть какой-то дефект. Всем вам не хватает чего-то.

— По-вашему, нам не хватает войны!

— Ну да! Человек не может жить без войн, как и без любви.

— Я люблю подраться. Но в казарме мне становится скучно. Я согласен умереть, только бы не от скуки. Разве вы не очень скучали на войне?

— Теперь-то мне кажется, что я скучал. Но это только потому, что я стал старше. Война хороша только для молодежи. Ведь это высшее проявление юности. Сейчас, в мои сорок лет, война, конечно, наскучила бы мне. Впрочем, следующая война будет коротка, как землетрясение.

— В 1914 году мне было двадцать пять лет. Казарма внушала мне ужас. Конторская работа — тоже. Вот по-

чему я и забрался в эти первобытные земли. Здесь труд еще сохранил кое-какое своеобразие. Но нужна была большая осторожность, чтобы не дать закабалить себя в зарабатывание денег и сохранить свою свободу. Здесь ведь тоже есть свои конторы.

— Вы напоминаете мне одного колониального офицера, которого я встретил в 1917 году. Он ненавидел современную войну из-за того, что видел в ней отображение современного мира, мира машин.

— О, нет! Я человек современный. Я машины люблю. Я ведь немного инженер и изобретатель. Я даже надеюсь, что именно машина когда-нибудь подарит нам право на лень, на блаженное ничегонеделание.

Я предложил позавтракать. Собеседник согласился. Покуда расставляли приборы, наше молчание прерывалось лишь незначительными замечаниями.

Он снял пиджак,— это весьма смутило наших соседей,— и быстро и довольно грубо принялся за еду.

Я рассматривал его с недоверием. Мне хотелось разгадать его. Что это — подлость или грубый эгоизм? Он чувствовал мой взгляд, но это его не смущало. В глазах его мелькала уверенная улыбка, но без развязности. Ценил он себя высоко, но не навязывал.

Я снова перешел в наступление.

— Ну, а если такова уж судьба Европы — быть разделенной на много разных отечеств?! Надо ведь мириться с судьбой того, что любишь! Если даже Европе суждено сгореть на костре...

— Чувства, какие можно питать к отдельным людям, нельзя переносить на целый коллектив. Я могу простить любимой женщине недостатки и даже пороки. Но почему вдруг я стану так относиться к целому государству?

— Отечество вам так же нужно, как и любимая женщина.

— Мое отечество там, где моя жизнь в безопасности...

— Связь с обществом неразрывна с идеей отечества. И культурный человек может проявить свою любовь к культуре, только приемля это понятие во всей его полноте, то есть приемля и войну. Кто принимает отечество, тот принимает войну. Ибо нет отечества без войны и вой-

ны без отечества. Кто любит отечество, не может не любить и войну.

Я вслушивался в свои слова с глубокой скорбью. Других путей нет. Таков тупик, в котором находится Европа. Настоящие патриоты обречены на смерть в окопах.

— Но ведь вы не хуже меня знаете, что война сделалась чудовищной, что она переросла всякую меру и стала выше человеческого понимания. И самая любовь к отечеству, даже помимо военных обязательств, сделалась какой-то болезнью, притупляющей разум, какой-то манией, которая уродует всю жизнь.

— Вы что же больше любите — Америку или Европу?

— Я вообще гораздо меньше люблю народы, чем отдельных людей. Это совсем разные понятия. Народ это одно, а человек нечто совершенно иное.

— Но ведь отдельный человек существует только как производное от народа.

Он взглянул на меня смеющимися глазами.

— Я, видите ли, много путешествовал.

— Что же из этого?

— Конечно, разница между народами, между людьми севера и юга, востока и запада не выдумана. Эта разница зависит не только от климата. Она проявляется и между отдельными провинциями. Но эта разница — дело очень тонкое. Ее так же трудно выразить словами, как передать характер женщины. А сами по себе эти различия восхитительны. Я наслаждаюсь ими.

— Ну, и что же?

— Мое наслаждение отравлено.

— Чем?

— Конечно, национализмом! Эта болезнь свирепствует от Гренландии до Огненной земли и от Пекина до Сан-Франциско. Я повсюду с отчаянием натыкаюсь на громкие слова националистов. Их употребляют не только политики, но и поэты. Национализм — это, право же, самое гнусное проявление современности. Раньше люди жили. Теперь жизнь остановилась. Все живут только прошлым. Мы как будто заняты сегодняшним днем, но внутренне все мы целиком обращены к прошлому. Ведь определять можно только то, что остановилось, кончилось, умерло. Этими

вот определениями и занимаются политики. Общество, которое называется Афганистаном или Германией, или Чили, хочет навязать мне свои идеи. Это, знаете, слишком! Ведь не общество же создает идеи. Идеи не приготовляются на фабриках, получающих казенные заказы. Идеи рождаются сами по себе, как полевые цветы. Современная культура — это номенклатура товаров, утвержденная министрами и агентствами путешествий, но строго-настрого запрещенная таможнями соседнего государства. Я не хочу знать этой номенклатуры. Я не хочу драться за эту фальшивку. Чем больше драк ведется за культуру, тем бесплоднее и фальшивее становится она, тем менее оказывается она достойна любви. Скажите, будьте добры, есть ли в Европе люди, которые не потеряли головы, люди, которые любят жизнь и не дают увлечь себя всей этой дешевой мистикой, которой торгуют ваши политические деятели? Что представляют сейчас Германия, Италия, Франция? Ведь все это — слова без реального содержания; слова, которыми радио прожужжало все уши. Отечество, в теперешнем понимании этого слова, может быть идеалом учителя гимнастики. Но в какой мере оно похоже на то, чего человек может желать в жизни? Знаете ли вы, господин пропагандист, состоящий на жалованьи у министерства иностранных дел,— знаете ли вы те желания, какие возникают у настоящего живого человека? Он хочет иметь хорошо построенный дом, с красивой и простой мебелью, удобное и изящное платье. Он хочет иметь свободное время, время на то, чтобы мечтать, спать, болтать, гулять, играть, наслаждаться и хорошо, тщательно работать. Франция? Что такое эта ваша Франция? Кто они такие, французы? Это старые садовники, повара, музейные сторожа, которые, не желая отставать от других, очертя голову бросаются в промышленность. У Франции громадная армия, у нее есть негры. И вот французы прижимают руку к сердцу и не могут окончательно склониться ни в пользу мира, ни в пользу войны. «Мне ничего не надо, у меня все есть, значит, я хочу мира, а все остальные — бяки». Подумать только: целый народ стал глупо лицемерен, как какой-нибудь премьер-министр. Вот какими вижу я французов сквозь столбцы ваших газет. Я вижу

их, этих людей, живущих на том берегу, который я догадался покинуть в августовский вечер 1914 года. Знаете, я хотел бы, чтобы какое-нибудь одно из европейских отечеств восторжествовало над другими. Право же, это было бы забавно. Вы представляете себе этот смехотворный бред? Мы знаем, как чудовищна и глупа была гордость древних римлян. А теперь? Разве угрюмая гордость современных французов и англичан лучше? А шумливая гордость итальянцев и немцев?.. Терпеть не могу я это человечество, валяющееся в политическом морге. Вы только вообразите, какой вид примет завоеванная Европа, объединенная под чьим-либо владычеством. Ведь страна-победительница неизбежно тотчас же утонет, затеряется среди побежденных. И мы, наконец, избавились бы от нынешнего безумия! Каждый народ в отдельности почувствовал бы себя осажденным всеми остальными. Завоеванная Европа! — Это, право же, забавно! Это принесло бы всем облегчение!

— Возможно, таким и будет надвигающийся конец. Возможно, что современное бешенство национализма, этот безобразный бред, охвативший уже всех и все, это—агония тех форм жизни, которыми слишком злоупотребляли и которые исчерпали себя до последнего предела.

Собеседник откинулся на спинку кресла и взял зубочистку.

— Во всяком случае,— заключил он,— все это не для меня. «Я — гений, — говорит себе мелкий лавочник,— я гений, ибо я — нация, и я миллионер, ибо я — государство». В итоге он приходит к выходу: «Я — Гитлер». Демократия лавочников неизменно приводит к диктатуре...

— Вы — старый реакционер.

— Ладно! Только что я был анархистом, теперь оказывается, что я реакционер. Да нет же...

— Эти бедные европейцы,— пробормотал я,— вероятно подохнут от страха друг перед другом.

— Неужели никогда не найдется смельчаков, которые возмутились бы и отказались бы участвовать в нынешней игре? Что произошло бы, если бы, например, сегодня пруссаки взяли Париж? Или поляки захватили Берлин? Разве все они не одинаково ничтожны, разве не все оди-

наково отупели? Они все в равной мере фабрикуют это уродство, называемое снарядами; все в равной мере не умеют мыслить, ибо ничему не учились; все в равной мере нудятся в одинаковых конторах. Я вот оказался смельчаком. Я — человек, и я нашел в себе смелость, которой не может проявить целый народ, смелость, которой нельзя и требовать от всех. Я вышел из игры.

— А если война вспыхнет между той страной, где вы находитесь, и кем-нибудь из ее соседей?

— Я, конечно, снова поспешу уехать.

— Цивилизация — это война. Вы ведете с цивилизацией нечестную игру. А кроме того, все, что я говорил об Америке, как о континенте мира, весьма сомнительно.

— Я только не хотел возражать вам.

— Америка тоже вступает в хоровод. Она тоже хочет занять свое место в хороводе великих войн.

— Ну, разумеется. Соединенные Штаты — это ведь тоже отечество. Значит, и им тоже нужна большая и болезненная война.

— Но ведь и Боливии тоже.

— Не надо смешивать. Есть несколько Америк. Здесь Америка тропическая. А в тропиках войны ведутся более неряшливо, не оптом, а в розницу. Конечно, в тех случаях, когда янки не принимают в них прямого участия. Тропическая Америка еще остается вне истории. Тропики еще не включились в историю мира.

— Вы хотите отделаться от участия в истории?

— Да нет же! Я ведь и сам, так же как и вы, остаюсь участником исторических событий, но моя жизнь — живой протест в меру моих скромных сил. Всегда находились люди, которые храбро выступали в одиночку. Я — один из таких людей. В 1914 году я был один из немногих. Но в следующую войну нас будут тысячи и тысячи, людей, которые будут защищаться от землетрясения. Одни убегут, другие предпочтут быть расстрелянными за протест, но не станут покорно умирать от бомбардировки и газов.

— Вы называете дезертирство протестом? Но те, кто протестует по-настоящему, те сражаются за свои убеждения и формируют корпуса.

— Ну что ж! В следующую войну создадутся целые

корпуса дезертиров... Не думайте, что я хочу уклониться от сложных и противоречивых законов жизни... И я соглашусь вернуться в Европу, если дело будет итти о том, чтобы установить в ней порядок. Это решит Женева. Ибо отныне Женева бессмертна. Это — новый Рим,— пусть менее блестящий, но зато и менее грубый, чем древний.

— Вот как! Да вы, оказывается, умеете загораться!

— Это вы виноваты. Вы провоцируете меня...

— Это не опасно. Вы из тех анархистов, которые способны лишь на безобидные утопии.

— Я не знаю, что я представляю собой. Я плевать хотел на все названия. Что у людей за забота,— поймать вас в западню какого-нибудь названия! Не в этом ведь дело. Я — живой человек, и я знаю, чего я хочу. Совершенно неважно, если в том, что я говорю, есть противоречия: эти противоречия пропадают, когда человек берется за дело. Что надо делать, это я знаю еще лучше, чем то, чего я хочу. Я жил, как человек, а не как мокрая курица, не как вьючный осел, изнывающий под наваленной на него ношей. Я не хочу ваших европейских войн, ваших вечных мобилизаций... Называйте это, как хотите,— анархизмом, если вам угодно. Но я-то знаю, что ничего не имею общего с этими оторванными от живой жизни теоретиками. Я никогда не читал их книг. Я дезертир и окажусь вновь дезертиром, как только необходимость подскажет это моему разуму. Сейчас можно спокойно путешествовать по нашей планете,— почему не воспользоваться этим? Я перехожу туда, где могу жить своим умом. Во все времена были люди, которые этак вот двигались и искали таких мест, где воздух лучше. Это они создали нашу планету.

— Вы своего рода «Вечный жид».

— Нет, я — бургундец.

Он на минуту умолк, чтобы спокойно выпить свой кофе. Закурив сигару, он заговорил, считая по пальцам:

— Я не человек умствования,— я не признаю ничего, кроме опыта и практики. Мои мысли — плод познания, которое мне дала моя природа, природа, создавшая всех людей, и моя способность уживаться с людьми. Я не мещанин, ибо я всегда ставил свои потребности выше своих

интересов. Я не пролетарий: я получил тщательное воспитание. Быть может, я корчу из себя дворянина? Нет, я не в такой мере эгоист и не обладаю таким самомнением. Быть может, я просто человек? Но вы сейчас заговорите о гуманизме. Я — это я, и кто меня любит, пожимает мне руку.

Мимо нас проследовал пароход, державший курс в сторону Европы. Он скользил быстро и был так огромен, что казался глыбой, оторвавшейся от континента.

Я смотрел на своего собеседника сквозь дым сигары. Мне было жутко за него: он был так одинок.

«Кто он? — подумал я.— Свободолюбец? Конченный, ни на что более не пригодный человек? Или один из людей, вечно сохраняющих способность к творчеству, как он утверждает? Как приспособить такого человека ко всемирному социализму завтрашнего дня?»

Он нахмурился, точно угадывал мои мысли.

— Как вы неопытны! Изолированности нет, разве вам это не ясно? Каждый человек в отдельности представляет для других пример для подражания. Сила этого примера передается невидимыми путями. Это воздействие каждой, самой далекой и самой потерянной души хорошо укладывается в понятие молитвы. И вы не забудете меня.

Я улыбнулся с грубоватой иронией. За это он строго взглянул на меня.

И позже, когда наш автомобиль обратно спускался к городу, он закончил:

— Я успел узнать кое-кого из людей. Я любил, я ненавидел. Люди, с которыми я жил, кое-что получили от меня; они меня во всяком случае не забыли. Такова моя жизнь. Такова жизнь вообще. Чего еще требовать от нее? Что такое спор между Францией и Германией? Это не больше, чем спор политический. Я не верю, чтобы в этом участвовали какие-нибудь идеи. Самые прекрасные идеи, посаженные в эту почву, умирают, как деревья на асфальте. Политика — самая грубая из всех игр, возможных на нашей планете. Все, что делает государство,— лакейская работа. Лакеи, конечно, нужны. Среди них попадаются даже весьма яркие люди. Но их работу я презираю и никогда не дам себя одурачить. Тропическая Америка — это

все-таки не то, что Европа. Здесь царство плоти. Здесь государство играет далеко не главную роль, здесь каждый имеет право делать, что хочет. Здесь есть тираны, но они не прикрываются социальными теориями. Войны здесь носят характер ребяческий. Они, конечно, бывают жестоки, но всегда по-своему очаровательны. Жизнь, конечно, тяжела и здесь, как и всюду, но все же здесь я могу вести совершенно особую жизнь.

— Ненадолго.

— Кто знает? Во всяком случае, я спасу свою жизнь. Я останусь жив. Я оберег это доверенное мне сокровище. С людьми я играл честно. И мое отвращение, и мою нежность я отдавал им в законных долях. Если я кому в чем и отказывал, то не людям, а их богам. И я умру, чувствуя себя наименее униженным из всех людей.

Внезапно он взглянул на меня с гневом.

— Я не верю в идею рока. Мои рассуждения имеют столько же шансов остаться долговечными, сколько и ваши. Так я думаю, так я живу. Для меня в этом и смысл жизни, и это — моя страсть. Во всяком случае, казарма мне противна, а тяжелая артиллерия и авиобомбы в моих глазах и ужасны и безобразны.

— Но ведь вы тоскуете по Европе, по Франции. Ваши первые слова были: «я пятнадцать лет не видел ни одного француза».

— Да нет же! Я сказал: «ни одного умного француза».

— Ну что ж! Вы видели, что и я не очень отличаюсь от остальных.

— Да, не очень! По-моему, быть умным — значит различать, что есть хорошего в жизни, и уметь пользоваться им. Не старайтесь разжалобить меня. Почему это я должен тосковать по Парижу больше, чем по Флоренции, по Веймару или по Оксфорду, по всем славным городам, о которых я мечтал с восемнадцатилетнего возраста и которые, конечно же, погибнут при ближайшем землетрясении? Клянусь вам, я одинаково тоскую по всем этим городам. Они все одинаково нужны мне. Это не расплывчатый космополитизм. Я ценю все эти города маленькой республики — республики настоящих людей. Но я очень легко обхожусь и без них. Меня охватывает ужас от ва-

шей демагогии, созданной для домоседов. Во все времена люди, которые хотели по-настоящему жить, должны были передвигаться. Люди, которые доехали до Бургундии, смело могут ехать оттуда в Аргентину или Бразилию. Что ждало меня в жизни? Плодовое дерево, жена и собака? Это имеется повсюду.

— Кстати, у вас есть семья?

— Я двоеженец. Одна жена у меня в Парагвае, а другая сейчас в Калифорнии. У обеих дети. Та, что в Калифорнии, в средствах не нуждается. А той, которая живет в Парагвае, я высылаю деньги, когда имею. В свое время я их любил. Что касается детей, то ни один из них не понравился мне настолько, чтобы удержать меня. Раньше из этого не делали историй. Самая большая моя нежность в мои сорок пять лет — нежность к земле, нашей восхитительной и жестокой родине. Земля принадлежит мне!

## КОНЕЦ ВОЙНЫ

День клонился к вечеру. Что бы предпринять до ужина? Взяться за книгу? Но я читал весь день. Покурить, что ли? Но ведь я уже выкурил двадцать трубок. Выпить разве? Ну конечно! Я пошел к человеку, который был всегда готов свернуть шею бутылке. Пройдя коридор, который тянулся вдоль всей штаб-квартиры, я застал моего героя на обычном месте. Он сидел без куртки и со страстью и яростью чесал все тело. Том Блоу был такого громадного роста и так толст, что все мелкие невзгоды походной жизни для него превращались в грандиозные приключения Гулливера. В этот момент он сидел наклонившись вперед, а это угрожало соседней койке. Но его это не смущало. Он все время ворочался и двигался всем своим огромным телом. Ко всему в жизни Том относился с иронией. Его спокойно-осторожное отношение к жизни проявлялось в долгом и тихом смехе. Этот смех был похож на ракету, которая пробегает долгий и невидимый путь раньше, чем взорваться. Но его смех не взрывался,— он кончался на двух-трех почти торжественных нотах.

Стриженая голова Тома была невелика, но казалась огромной, так как покоилась на толстой шее. По мясистым щекам и маленьким голубым глазам было видно, что ему, несмотря на его вставную челюсть, едва исполнилось тридцать лет.

Блоу разговаривал со мной по-английски, иногда встав-

ляя и французские слова. Но его французские выражения я часто принимал за незнакомые американские слова. Тогда он корчился от хохота, и я сам тоже хохотал, глядя на него.

— Что, Блоу, чешется?

— Ах, эти проклятые вши, чтоб они подохли!

Но тотчас же Том лукаво подмигнул мне.

— Что вы делали сегодня?

— Вы не догадываетесь?

— Нет.

— Ну, ясно же — я завтракал у французов. Эта гнусная американская кухня не для меня создана. Я был в колониальной части. Полковник там замечательный старик. Он держит повара, который прежде служил в Париже, в отеле Ритц. Так что, вы понимаете!.. Я пришел к ним в халупу, когда они кончали завтрак. Но они видели по мне, что я подохну, если мне не дадут паштета, который еще стоял на столе. Этот чудесный полковник приказал принести еще, и я съел целый паштет. Он покропил его бутылкой бордо и не знаю сколькими рюмками коньяку. Коньяк финь-шампань! Это слишком хорошо для американцев. Кроме меня одного. Да, вы, французы, умеете воевать!

У Блоу было в штабе не больше работы, чем у меня. Он пользовался привилегированным положением. Его отец служил полковником в регулярной армии и был товарищем нашего генерала. На этом основании Том вел жизнь бездельника. Этот лакомка был родом из Виргинии и у себя на родине привык к хорошей пище и веселой жизни. Он всегда выискивал лучшие куски и лучшие бутылки и не пропускал ни одной девчонки, хотя бы это и была первая попавшаяся судомойка.

Том прославился на всю дивизию своим отпуском. Он попросился в Орлеан. Ради Жанны Д'Арк? О, нет. Он провел там целую неделю безвыходно в одном маленьком публичном доме. Окруженный пьяными женщинами, пустыми бутылками и грязной посудой, этот промадный ребенок сидел голый в постели и чесал свое тело, изъеденное вшами.

В своей куртке, которая была слишком коротка, он та-

скался по всему тылу. Эта куртка едва сходилась у него на животе со штанами, которые тоже были коротки. Чтобы сделать себе пояс, он был вынужден сшить два ремешка. Шлем был мал и походил на черепок там, где нужен большой котел.

Том был лишен всякой воинственности. Этот шумливый болтун и враль до такой степени боялся войны, что умолкал всякий раз, когда заходил разговор о его бицепсах. Ему казалось, что слишком хвастливый тон беседы на эту тему мог рассердить бога Марса.

Мы основательно выпили в этот вечер. Том, взглянув на меня, опять стал хитро подмигивать.

— Ну, что вы еще натворили?

— Я расскажу вам, братец, кое-что такое, чего другие не посмеют вам сказать. В Вогезах,— вы помните? — какие мы были несчастные и проклятые идиоты. Мы тогда не знали...

Он намекал на кое-какие мои злоключения. В июне 1918 года я был прикомандирован к американцам, они прибыли на учебный сектор, находившийся в Вогезах, у самой швейцарской границы. Эти американцы презирали Францию. Они успели проехать через всю страну: маленькие домики, кучи навоза, безропотные люди и множество бесстыдных, продажных женщин.

Когда на фронте они увидели, что бывает всего три выстрела за день, они говорили:

— Вот поэтому-то война и тянется четыре года.

Прибыв под Верден, о котором я рассказывал им ужасы, они позеленели от волнения. Впрочем, они быстро оправились и стали зубоскалить. Наша дивизия насчитывала двадцать тысяч свежих солдат, артиллерия следовала за нами с сотнями орудий, небо было черно от аэропланов. И все это было брошено на небольшое, затерянное австрийское соединение. Австрийцам все это не понравилось, и они стали деликатно сдаваться в плен. Мы продвинулись вперед на пять километров, взяли пять тысяч пленных, пушки, пулеметы... Американцы стали смеяться надо мной.

Но уже два дня, как против нас выдвинута резервная саксонская дивизия. Она никогда не считалась особо вы-

дающейся, но умела крепко вцепляться в свои пулеметы... Прекрасная американская дивизия мгновенно ринулась в бой, но тотчас же осела, наткнувшись на эти упрямые старые пулеметы. Американцы несколько раз возобновляли атаки, но жертв становилось все больше и больше. Двигаться вперед было невозможно, приходилось даже отступать. Мои приятели перестали смеяться. Теперь посмеивался я, с грустью думая о том, что представляет собой эта измученная саксонская дивизия. Она должна быть похожа на наши отощавшие французские войска, с которыми мы встречались по дороге. Они передвигались вверх и вниз без всякой инициативы, неказистые на вид, но приносящие свою пользу.

Когда мы с Блоу успели осушить бутылку финь-шампань, настало время идти в столовую.

Мы устроились в бывшем немецком укрытии. Оно было прекрасно оборудовано. Это был дворец из бетона и цемента, не боявшийся самых крупных снарядов.

Не слишком стесняя друг друга, здесь разместились штабы французской артиллерийской группы и нашей американской пехотной бригады. В просторном зале с низким потолком генерал Каннинг председательствовал за обеденным столом. Французское командование сидело напротив.

Я не спускал глаз с генерала. Это был один из редких людей, знающих человеческое сердце. Он был требователен к самому себе, но умел быть чутким к другим. Являясь заклятым врагом человеческих слабостей, он умел ценить и поощрять чужие достоинства, умел быть одновременно и добрым, и строгим.

Я наблюдал этого человека, но так и не сумел обнаружить у него ни одного мало-мальски серьезного недостатка. Судя по тому, как он умел проявлять чуткость к людям, он был скорей человеком сердца, чем человеком ума. Эта черта редко встречается у заурядных людей. Те большей частью бывают педантичны и претенциозны. Начальником штаба у генерала был человек более методичный, чем он, но с большей амбицией и напористостью. Сдерживало его только чувство собственного достоинства, которое он старался выставлять на вид.

За столом говорили мало. Никто из французов не вла-

дел английским языком, один только генерал умел связывать пару фраз.

К великому отчаянию Блоу, каждая группа питалась со своей кухни. Все скучали, и каждый из нас мысленно посылал сотрапезников ко всем чертям. К счастью, трапезы длились недолго и прерывались телефонными звонками.

Французы посматривали на меня косо: я не был офицером и место за столом получил только благодаря любезности генерала и его расположению ко мне. Французам не нравилась также изысканность моей обмундировки. Впрочем, они скоро решили, что у меня высокие связи в Париже, и стали почтительны по отношению к загадочному молодому человеку.

Артиллерийский майор имел вид христианского аскета. Это один из двух-трех типов, распространенных среди фронтовиков. Сохранились еще фронтовики толстокожие и карьеристы. Подлинный тип воина, прекрасного и доброго, попадался очень редко. Этих должно быть уже успели истребить.

Хотя французов и нельзя было смешать с американцами, но я уже не находил между ними той разницы, которую предполагал раньше, пока их не увидел рядом. Через несколько дней люди стали делиться больше по характерам, чем по национальности. Были здесь умные и дураки, были храбрецы и трусы. Были, конечно, и ни то, ни другое. Таким был и Том Блоу.

Генерал говорил о планах на завтрашний день. Меня умилило его намерение ежедневно посещать траншеи первой линии. Вот он у нас какой, этот генерал. Однако не все офицеры ценили эту его заботливость о солдатах.

— Завтра утром со мной пойдете вы, Фоукер,— сказал генерал, бросая быстрый взгляд на долговязого лейтенанта-картографа. Тот молча поклонился. Лейтенант был умница и работяга, но эгоист, всеми способами оберегавший свою шкуру. Этих утренних прогулок по траншеям он не одобрял. Блоу молча улыбнулся и подмигнул мне. Я ответил ему недовольной гримасой: я находился под обаянием генерала.

Обед кончался. Генерал, как и каждый день, угостил французов прекрасными сигарами, на которые они набро-

сились с жадностью. Я подошел к нему в ту минуту, когда он уходил в свою канцелярию.

— Господин генерал, разрешите мне завтра утром сопровождать вас.

Объяснений не потребовалось: генерал уже за столом заметил по мне, что я затосковал. Однако я был переводчиком. Мое место было в тылу или на посту командования. В американских траншеях мое присутствие было бесполезно.

— Ладно, пройдемся вместе. На обратном пути я зайду на французскую колониальную позицию. Я еще не отдал им визита.

Генерал старался придать целесообразность моему жесту, чтобы избавить меня от неприязни тех офицеров, которые отправляются на передовую линию лишь по обязанности.

Я вышел на свежий воздух и натолкнулся на Тома Блоу. Он посвистывал, повернувшись ко мне спиной. Очевидно и он, как все остальные, был уверен, что видит меня насквозь.

Я уселся на цементной скамье у стены убежища и стал смотреть. Впереди себя я ничего не видел. На секторе все было спокойно,— обычная канонада. В небе изредка вспыхивали огни. Бои шли далеко, где-то по направлению к Аргонне, у неизвестных соседей.

Я пытался завязать разговор с Блоу. Но он отвечал мне каким-то новым, необычным тоном: я стал для него врагом, предателем, лицемером. Когда я пошел к себе, он угрюмо пробормотал:

— До завтра!

Ложась спать, я попытался проанализировать самого себя.

Прошли месяцы и годы с тех пор, как я покинул французский фронт.

Еще в 1916 году мне повезло, и я получил удачную рану. Она была не настолько серьезна, чтобы мешать мне наслаждаться жизнью, но вид у нее был внушительный, да, кроме того, она грозила сказаться еще впоследствии. Я почти все время торчал в командах выздоравливающих. Когда меня отпускали оттуда, мне случалось занимать са-

мые разнообразные должности. Впрочем, я времени не терял: я связался с женщинами. А ведь я думал одно время, что так и умру, не узнавши их.

В конце 1917 года у меня возобновилась старая болезнь: меня стала мучить тоска по настоящему фронту. Это сделали кино, газеты и военная литература.

Однажды ночью мрачная тоска охватила меня, как бред. Рано утром я решил действовать и, очертя голову, попросился в действующую армию, между тем как всего лишь за год перед этим я дрожал при одной лишь мысли, что мне откажут в зачислении в нестроевые! Я служил тогда в военной кинематографии. Мой начальник замер от восхищения, но в коридорах врачебной комиссии на меня смотрели с ужасом и презрением. В 1917 году такие жесты были уже не в моде. В своем отчаянии я никак не мог понять, почему ко мне относятся так подозрительно.

Меня все же определили в строевую часть. Рядом со мной стояли славные парни, позеленевшие от тревоги, и умоляли, чтобы их признали больными, негодными к службе калеками. Они смотрели на меня с отвращением и ненавистью.

Но на следующий день после этого своего подвига я полюбил. И через неделю благодаря заботам моей возлюбленной меня перевели обратно в нестроевые.

Это отсрочило мой последний порыв на шесть месяцев. В течение целого полугода я был счастливейшим из людей. Наконец-то я полюбил настоящую женщину и любим ею. В течение этих шести месяцев Россия успела пересмотреть все вопросы. Германия за это время подготовила и даже начала свой последний натиск на Париж.

С начала весны я стал снова испытывать угрызения совести. Я убедился, что для меня пора любви — не весна, а зима. Ибо я создан для любви в Париже, для той любви, которая с залитых дождем улиц спешит к теплу камина. Да и кроме того — самая красивая женщина в мире не может дать больше того, что она имеет. Я скоро устал от покоя, и вместе с этой усталостью ко мне вернулись угрызения совести и тяга к войне.

Когда, наконец, я уехал, то на этот раз свою жертву я

принес с разбором: я оказался переводчиком при американской армии.

И вот я нахожусь почти в тылу, играю с огнем. Я не тороплю событий и только поддразниваю смерть.

Никто не принимал меня всерьез. Блоу, и тот смеялся надо мной. Чем стал я за время с 1916 года, со времени Вердена, где погибло больше тысячи солдат нашего полка вместе с нашим старым полковником!

Я никак не мог понять, что я давно стал другим человеком и что этот другой оставался жертвой прежнего, который пережил самого себя и не хотел умереть. Как трудно побороть в себе пережитки прошлого.

На другое утро моя судьба показалась мне незавидной. Уже поговаривали о перемирии. Был конец октября. Еще накануне вечером, несмотря на некоторую опасность, навстречу которой я пошел, поступая в американскую армию, я мог считать, что войну кончил благополучно. И вот теперь мне грозит опасность быть убитым в последнюю минуту. Уныние охватило меня. Я побрился и отправился в столовую. Там говорили об атаке, ожидавшейся вечером. На меня никто не обратил внимания.

— Надо немедленно наладить связь с колониальными войсками. Они должны поддержать нас на левом фланге,— сказал генерал начальнику штаба.

Я замер: вот прекрасный повод не итти с генералом.

Соблазн охватил меня в одно мгновение. Я сразу увидел перед собой еще целый десяток других, столь же прекрасных поводов к тому, чтобы остаться при своих обязанностях переводчика и не ввязываться в эту прогулку по окопам первой линии, которая к тому же выглядела как вызов моим американским товарищам.

Завтрак был короче обычного. Когда все встали из-за стола, ко мне подошел Блоу. Глазки его моргали, улыбка раздирала ему рот.

— Старик! (О, да, я был стариком! Как я постарел за эти два года, проведенные в тылу!) Старый солдат,— говорил он, откровенно смеясь надо мной.— Идем устанавливать связь с французами.

— Да, да!— отозвался генерал. Он как будто позабыл

о моем вчерашнем предложении.— Ступайте! Попросите у них выписку из приказа и принесите мне перевод.

Все устраивалось. Но я взглянул на генерала. Я увидел, что он вовсе не забыл моего вчерашнего предложения, он отлично понимал все.

— Вы пойдете со мной завтра,— сказал он мне вполголоса, проходя мимо меня.

Я быстро повернулся к Блоу, который наслаждался этой сценой.

С порога нашего прикрытия я глядел вдаль, туда, где лежали первые линии. Я прислушивался. Было тихо. Чорт возьми, уж если итти туда, так именно сегодня утром.

Блоу взял меня под руку. Мы закурили трубки и поплелись к французскому командному посту.

Мы пошли в одну сторону, а генерал с длинным лейтенантом — в другую. Я оглянулся, чтобы посмотреть им вслед. Они скрывались в лесочке, среди деревьев кладбища, куда я еще ни разу не ходил.

Блоу шагал позади меня. Через минуту он оглянулся, остановился и стал пристально глядеть на меня. Своим огромным телом он загораживал дорогу. Он буравил меня своими маленькими глазками.

— Хи-хи-хи... Ха-ха!..

— Да! Я несчастный и проклятый шутник! К счастью, шутки скоро кончатся.

— Вы достаточно нашутились, старик.

— Не так уж много...

— Вполне достаточно. Судьба любезно поручает вам продолжать ваше существование еще лет шестьдесят. Я считал вас благоразумным. Смотрите, да смотрите же!

Он показывал мне окружающий пейзаж. Этот толстый человек был недоступен для какого бы то ни было восторга. Для него опасность была чем-то очень реальным, очень ограниченным. Страх у него бывал слишком непродолжительным. Этот страх не успевал обратиться в любовь к страданию.

— Смотрите!

В природе Вердена уже навеки залегла непреодолимая грусть. Это — громадные просторы, бесконечные, неподвижные и непреклонные массивы. Справа, по ту сторону

Мааса, залегли бесконечные дали. А вокруг нас — обрывы, взрыхленная земля, в которой миллионы трупов находятся под ногами. Пятую зиму длится сумасшествие, которое вновь потянуло меня в эти места, откуда я некогда бежал. Это сумасшествие казалось мне замаскированной судьбой. Оно вопияло и покрывало злорадный смех Тома Блоу.

— Ступайте, Блоу,— резко сказал я.

Мы шагали между батареями, глубоко вкопанными в землю. Мы встретили несколько французов, несколько негров. Каждый был занят своими делами.

Стояло октябрьское утро. Моя трубка пахла виргинским табаком. Я устроился среди иностранцев. Что, в конце концов, представляет для меня эта земля? Что меня терзает?

Это все старые рефлексы, пережитки, доисторические понятия, отклики детства, следы воспитания. В детстве ребята мечтают о подвигах, о том, как они станут воевать. Но годы идут, и с каждым уходящим годом хочется подальше уйти от крови. Никто, к сожалению, ничего не сделал, чтобы эту естественную перемену характера вооружить энергией. Выйдя из детских лет, я стал миролюбивым буржуа. В первую половину войны этот буржуа бестолково старался исправить ошибки своего воспитания. Но дикие мечты — одно, а цивилизованная война — нечто другое. Я попал в рутину бомбардировок, в неподвижную иерархию войны. Мысли о подвигах, о славе оказались обманом. И тогда моя энергия проявилась в яростном протесте. Что произошло бы, если бы счастливое стечение обстоятельств не освободило меня от фронта? В 1914 году две раны, одна за другой; в 1915 — болезнь, в 1916 — еще рана. Я был близок к преступлению.

В 1916 году, под Верденом, столкнувшись лицом к лицу с этим воплощением всех ужасов современной войны, я был готов дезертировать, покончить с собой, сдаться в плен, нанести себе самому рану, как делали многие, или притвориться сумасшедшим. Это тоже сулило несколько месяцев отдыха в госпитале. Нет, быть простым чернорабочим войны, солдатом или даже офицером, то есть мастером,— это не для меня!

Да, друзья мои, вот какой опыт я приобрел. Это чего-

нибудь да стоит в жизни. Как я был счастлив в первые месяцы, когда мне довелось чистить картошку и работать киркой и лопатой! От души желаю этого каждому достойному человеку!

Но когда это стало затягиваться, я почувствовал себя плохо. Я приветствую обязательную физическую работу, но не надо преувеличивать! Мой социализм все же чуть-чуть аристократичен. Вы, друзья мои, должно быть, в этом не сомневаетесь, и это для вас не новость.

В ту пору я ничего не понимал. Я мучился.

... За завтраком я не отрывал глаз от генерала. Я проверял на нем веру в свою безопасность.

— Ну и жарко же было сегодня утром,— воскликнул, садясь за стол, лейтенант Фоукер, сопровождавший генерала.

Я почувствовал, что краснею. Мне казалось, что фраза была сказана по моему адресу. Я взглянул на Фоукера. Но он обращался к своему приятелю, небольшого роста брюнету, специалисту по газам. Тогда я снова повернулся в сторону генерала и взглянул прямо в его голубые, острые глаза.

Лейтенант рассказывал о том, как ему при выходе из леса,— вы знаете, у этого паршивого перекрестка,— пришлось прыгать в яму, чтобы укрыться от снаряда.

Я тысячу раз проделывал это в 14, в 15, в 16 годах. Меня взволновал этот рассказ, как всегда волнует напоминание о чем-то хорошо знакомом.

Весь день я был мрачен. Да, война кончается. Начинается жизнь, надо учиться жить как-то по-новому. Зачем я принимал все это всерьез? Пройдет несколько лет, и никто обо всем этом и думать не будет. Я не мог быть самим собой в этой обстановке, среди этих грубых людей — солдат и офицеров. В конце концов, даже в штабах все было мелко и низкопробно. Мы все были только жалкие исполнители. Во имя чего рисковать жизнью? Какой смысл?

Меня охватило циничное безразличие. Но та часть меня самого, которая умеет ценить правоту, мужество, самопожертвование, восставала. Она боролась против циничной и хитрой другой части.

— Ведь ты всегда жаловался,— говорила лучшая

часть,— что в армии ты не на своем месте, тебе в этой простонародной армии, с ее тяжелой, подозрительной и неподвижной иерархией, не по себе. Ты соглашался итти на гибель не ниже, чем в чине полковника. Ну, что ж,— вот теперь ты подружился с генералом. В глазах десяти тысяч американцев ты являешься ведь представителем целого народа. Ты ведь играл с опасностью, шутил с огнем. Как же ты можешь уйти из игры в такую минуту, когда она стала наиболее заманчивой, наиболее опасной. Это последняя игра. Надо итти ва-банк.

У меня в моем бетонном убежище была книга моего вечного Паскаля. Я не перестаю питаться им уже четыре года. В такие минуты книга, вероятно, поддерживает и воодушевляет нас, даже если глаз рассеянно скользит по ее спокойным строчкам.

Я внезапно почувствовал, что не могу больше оставаться один, и вышел. Все вокруг было серо жалкой пыльной серостью, вызывающей такое ощущение, как будто наступил конец света. Это цвет здешней зимы. Он напомнил мне серую безнадежность тыла. Во всем окружающем чувствовалось угрюмое, лицемерное спокойствие. Оно охватывало весь театр войны и от первых линий окопов тянулось до самого моря. Эта похоронная обстановка создавала у меня ощущение, что моя жизнь давно кончилась. Я встречу мир с мертвой душой,— перемирие уже близко. Еще несколько дней, и игра закончена. Скрываться от смерти — не значит ли это чувствовать себя уже мертвым?

Ложбинка, в которой я находился, была весьма похожа на находившуюся в пяти километрах отсюда ложбину в Тиомоне, где два года назад я пережил бомбардировку. Тогда все кругом было еще более серо, стоял жестокий холод. Неужели я забыл жестокость тех дней? Разве в тот день я не дал себе самому клятвы никогда больше не возвращаться в эту обстановку, если только уцелею? Неужели я забыл все это?

Дымящаяся трубка спрятана в карман. Я сжимал кулаки. Я хотел сделать усилие, чтобы снова вернуть себе самого себя. Забыть о пережитом я не мог. Я должен оставаться верным тому крику, который вырвался у меня, когда огромный снаряд свалился на Тиомон. Да, надо было

уцепиться за те чувства, какие вызвал у меня этот крик. Этот вопль и теперь жив во мне. Малейшего напоминания достаточно, чтобы он снова заполнил всего меня, чтобы снова зазвучали эти неправдоподобно пронзительные звуки.

Я молча ждал, когда услышу снова этот крик. Он, как молния, осветил во мне тогда бездонную пропасть дикого эгоизма, сумасшедшей, отвратительной жажды жизни, стихийной силы.

Я сделал усилие, чтобы открыть глаза и ясно увидеть окружающее. Здесь, да, здесь! Снаряды рвутся. Эта ложбинка вовсе не такая пустая и мирная: она полна рвущейся стали, газов, огня, она заполнена страданием. Где же крик тех дней? Разве он теперь уже не имеет больше корней в моей оскорбленной душе? Полно! Этот промадный снаряд, этот удар кулаком, сотрясающий воздух, эта грубая сила, которая ищет вас, хватает, шарит в ваших карманах, в самых тайниках ваших, в ваших внутренностях и скручивает вам сердце! И тогда пробуждается что-то древнее в человеке. Он восклицает:

— О н и злы на меня, о н и меня ненавидят, о н и мои враги. Но я буду защищаться, я им не поддамся.

Кто эти о н и? Невидимые враги рассеяны в воздухе. Вся природа заполнена врагами. Природа — самый зловещий, темный враг. Разве ты забыл, как ты ненавидел тогда природу, как ты отрицал ее, как отрицал все на свете в те часы? Но это отрицание безумно, оно беспомощно. Год спустя в объятиях первой возлюбленной моя душа кричала о другом.

Я чувствовал, что в природе война,— как любовь, как страдания,— будет жить вечно. Жизнь и смерть, страдание и радость всегда будут дополнять друг друга.

Конечно, сейчас я понимаю многое, чего не понимал, не способен был понять тогда. Я вижу разницу между войнами прошлого и нынешней войной, оцениваю различие между современным обществом, порождающим нынешнюю войну, и другим, возможным обществом.

Временами мне приходит грустная и постыдная надежда на то, что человечество устанет. Временами появляется другая, гордая мысль о будущем. Я надеюсь на молодежь,

на вас, юные, чье мужество расцветает в спорте, в благородных опасностях спортивных состязаний. Надежда на это слаба, но опоры человеческих надежд были слабыми всегда. Мои надежды потому и дороги мне, что имеют под собой так мало оснований.

В те времена я не знал всех этих мыслей. Я был далек от каких бы то ни было размышлений. Дело шло не о Франции, не о храбрости. Принять всю жизнь во всей ее полноте или целиком отвергнуть ее?! Для меня решался вопрос, верю я еще или не верю? Момент был решительный: мне двадцать четыре года; сразу же после заключения мира мне предстоит вступить в жизнь. Я смутно чувствовал то, что стало мне ясно впоследствии. Готовность умереть является основой всей жизни. То или иное отношение к смерти будет определять все мое поведение,— мою профессию, мои взгляды, мою любовь. Касается ли дело нашей любви или нашей работы,— во всем и всегда надо доходить до предела, до той последней черты, которая соприкасается со смертью. Но разве я не выдержал этого экзамена? Разве я не доказал, что я умею быть храбрым? Разве в иные минуты я не ощущал в себе твердой, неукротимой силы, которая сильнее железа и стали? Вы, мои товарищи по Шампани и другим фронтам, вы можете ведь подтвердить это.

Были, правда, и другие часы, когда я был трусом. Я дрожал в эти часы, я мечтал стать хотя бы дорожным сторожем где-нибудь далеко, на юге.

В эти годы, прожитые на фронте, мне нехватало постоянства, устойчивости во взглядах. Я не умею бороться с обыденщиной. Мне не по силам превозмогать пошлость будней, бороться с ней в течение восемнадцати месяцев подряд! Ах, я не выношу ничего будничного, и поэтому во мне недостаточно человеческого. Теперь все сроки уже прошли. Но потому-то я и мечтаю о последнем взлете.

Я добыл из кармана свою трубку. Она была еще тепла. Я набил ее доверху.

И попрежнему люди тыла все еще окружали меня. Они лицемерны и спокойны, они наслаждаются своей маленькой жизнью. Таков толстый капитан французской артиллерии, которого я встречаю каждый день. Таков амери-

канский писарь в очках. Какое отвращение вызывают люди этого типа!

От виргинского табака моей трубки идет приятный запах культуры. Это та мужественная культура англо-саксов, которую я избрал.

Я закурил и с трубкой в зубах спустился в ложбину. Я шел большими шагами, любуясь на свои сапоги, мои собственные чудесные сапоги.

Я отправился в тот лесок, где утром проходил генерал... Моя храбрость — мое личное дело. Мне не надо свидетелей. Даже тогда, когда мне будет восемьдесят лет, по моему лицу будет видно, что у меня было мужество, то мужество, без которого все на свете — пустые, ничего не значащие слова.

Я дошел уже до опушки. У первого же дерева меня начало трясти. В течение всех последних дней я рисовал себе эту опушку, как начало ада. Двое или трое американских пехотинцев сидели на дне ямы. Они взглянули на меня. Как я ни старался, я так и не увидел в их глазах ни преклонения перед моей храбростью, ни презрения к моему безумству. Они накопили достаточно опыта, чтобы не выносить быстрых и общих решений. Они были заняты своими делами.

Я шагал по широкой тропинке. Все вокруг было тихо. День выдался спокойный. Снаряды взрывались редко. Мне пришла в голову идея компромисса: все сойдет благополучно. Я пройду по лесу, выбрав для этого мирный час, и со мной ничего не случится.

Я продолжал итти. Навстречу мне попадались разные люди,— солдаты, офицеры.

Вот раненый. Он доволен, шельмец. Он ранен в руку,— не страшно. Как ловко он улепетывает!

Треск пулемета доносится все яснее. Из командного поста его не слышно. На спокойном участке отдельные шумы войны приобретают совершенно мирный характер. Впечатление такое, как будто рубят лес, сбрасывают дрова. Сухой стук пулеметов, раздающийся в сухом воздухе, не вызывает мыслей об опасности.

Конечно, бьет и пушка. Узнаю 75-миллиметровую. Это стреляют с батареи, что находится рядом со штабом. Ба-

тарея толстого капитана. Неужели не могли они выбрать другой момент для стрельбы?

Слышен отдаленный свист, жужжание. Свежему человеку трудно разобраться на незнакомом участке. Здесь опасно. Надо было притти с кем-нибудь, кто знает местность. Хотя бы с генералом. На этот раз хватит. Я вернусь завтра с генералом. Теперь я ведь уже освоился. Освоился ли? Я вступаю в странный и враждебный мир. Люди, которые попадаются навстречу, точно и не замечают меня.

Вот и еще раненые! Двое несут на плечах носилки. Их окружает небольшая группа — человек пять или шесть. Резкий вой донесся до моего слуха. На лицах ужас. Когда мы поровнялись, носильщики остановились и поставили носилки наземь. Долгий и протяжный вой усилился. Слышны были вопли, стоны, протесты и мольбы.

В группе был врач.

— Сейчас я сделаю ему укол. Погодите.

Преодолевая страх, я подошел. Я увидел... Уже два года я не видал этого.

Это был совсем молодой здоровяк, гигант, офицер, с золотым браслетом на руке. У него было вырвано лицо. Не было глаз, носа, рта. Но он был жив. Тело его нетронуто. Он, несомненно, останется жить.

— Кто это? — спросил я.

— Офицер из штаба дивизии. Он направлялся к пулеметам. Но торпеда...

Я долго, не отрываясь, смотрел на раненого. Он сохранил еще привычку смотреть и видеть и поворачивал развороченное торпедой лицо то вправо, то влево.

В этом хаосе мяса жила потребность видеть.

Я вспоминал, как во время бомбардировки, в минуты отчаянного, безысходного упадка, я думал о том, что страшней: пуля в живот или осколок гранаты в глаза?

Окружавшие раненого американцы были недовольны. Что тут делает этот француз? Они хмуро смотрели на меня. Они были новички на фронте и еще искали виновных.

Меня пронизывали тысячи ощущений. Они противоречили одно другому, они сталкивались и сшибались. Но я

оказался выше всех этих ощущений. Я стал как бы воплощением одной главной основной мысли.

— Нет! Ни в коем случае! Ни за что!

Я повернул обратно и ушел в бетонное прикрытие командного поста.

На следующий день с утра все должно было возобновиться: серые глаза генерала должны были снова призвать меня. Но внезапно я услышал:

— Дивизия снимается. Отправляйтесь в тыл. Свяжитесь с французским транспортом и наладьте перевозку войск.

Я уехал. На этот раз я больше уже не возвращался.

## СОДЕРЖАНИЕ


Предисловие . . . . . 3
Комедия войны . . . . . 7
Геройство Грюммэ . . . . . 78
Дарданеллы . . . . . 96
Лейтенант стрелкового полка . . . . . 136
Дезертир . . . . . 159
Конец войны . . . . . 174

Редактор *Ф. Шипулинский*
Технич. редактор *Л. Шишкова*
Корректора *Н. Дегтярев*
и *М. Лоренцо*. Переплет худ.
*Д. Бажанова*

Сдано в набор 8/I—36 г.
Подписано в печать 20/III—36 г.
Уполномоченный Главлита Б—16999
Индекс X—50 учетно-автор. 10,5 лист.
автор. л. 9 46
Тираж 10 000; формат бумаги 82×110¹/₃₂
12 п. л. Отпечатано на бумаге
Окуловского писчебумажного
комбината им. Менжинского
11-я тип. и цк. ФЗУ Мособлполиграфа
2-я Рыбинская, д. 3.

Цена 2 р. 50 к. Переплет 50 к.

3 руб.

1940
23